

НПО «Издательство «Наука» РАН

Редакция журнала «Славяно-Ведение»
119334, Москва, Ленинский просп., 32А
тел. 998-01-20
e-mail: jurslave@rambler.ru

ISSN 0132-1366

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК



СЛАВЯНО-ВЕДЕНИЕ

5
2006



«НАУКА»

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

Славяноведение

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1965 г.

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

Журнал издается под руководством
Отделения историко-филологических наук РАН



Содержание

СТАТЬИ

Гришина Р.П. (Москва). Политика России на Балканах во второй половине XIX – начале XX века в свете проблем буржуазной модернизации	3
Омельянчук И.В. (Харьков). Украинский и польский вопросы в контексте этнополитической составляющей идеологии консервативно-монархических партий России начала XX века	9
Миллер А.И., Остапчук О.А. (Москва). Латиница и кириллица в украинском национальном дискурсе и языковой политике Российской и Габсбургской империй.....	25

СООБЩЕНИЯ

Беда А.М. (Москва). “Патриотические письма из Галиции”: страница истории идейной борьбы славянства	49
Портнов А.В. (Киев). Население западных окраин Российской империи в польских мемуарах первой трети XIX века	60
Бортникова А.В. (Луцк). Социально-экономическое развитие Волынской области с начала 90-х годов XX века: обзор научной литературы	68

ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Моця А.П. Н. Юсова. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.)	75
Белов М.В. В.П. Грачев. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.).....	78
Стыкалин А.С. Национальная идея на европейском пространстве в XX веке	81
Мананчикова Н.П. Л.П. Лаптева. История славяноведения в России в XIX веке	92
Борисенок Е.Ю. Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории.....	99

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

<i>Носов Б.В.</i> Международная научная конференция “Столица и провинция в истории России и Польши”	104
<i>Акимова О.А.</i> Научный симпозиум “Йосип Юрай Штроссмайер”.....	109
<i>Горизонтов Л.Е.</i> Традиции белорусоведения. Российско-белорусский проект по истории науки.....	116

ЮБИЛЕИ

<i>Досталь М.Ю.</i> К юбилею Людмилы Павловны Лаптевой	123
<i>Зализняк А.А., Николаев С.Л., Старостин Г.С.</i> К юбилею Владимира Антоновича Даубо	125

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М.А. РОБИНСОН (и.о. главного редактора),
М.А. ВАСИЛЬЕВ, Г.К. ВЕНЕДИКТОВ,
Р.П. ГРИШИНА, В.И. КОСИК, Г.Ф. МАТВЕЕВ,
В.В. МОЧАЛОВА, К.В. НИКИФОРОВ, С.В. НИКОЛЬСКИЙ, В.Я. ПЕТРУХИН,
Л.А. СОФРОНОВА, Б.Н. ФЛОРЯ, В.А. ХОРЕВ, Т.В. ЦИВЬЯН

A.B. Болдов (отв. секретарь)

Заведующие отделами: *Адельгейм И.Е.* (отдел литературоведения),
Белова О.В. (отдел культурологии),
Стыкалин А.С. (отдел истории)

Зав. редакцией *Г.А. Михеева*

Сотрудники редакции: *Авакова Л.А., Пономарева Е.В., Веслова И.Ю.*

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский пр-т, 32а, Телефон 938-01-20
E-mail: jurslav@rambler.ru



СТАТЬИ

Славяноведение, № 5

© 2006 г. Р. П. ГРИШИНА

ПОЛИТИКА РОССИИ НА БАЛКАНАХ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА В СВЕТЕ ПРОБЛЕМ БУРЖУАЗНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ

Политику России на Балканах после Берлинского конгресса 1878 г., как и более раннего времени, целесообразно рассматривать, на наш взгляд, наряду с другими и в аспекте развития модернизационных процессов в Западной Европе, России, а также и на балканских землях. Этим вопросам в российской историографии в последнее время стало уделяться специальное внимание.

С точки зрения общего направления развития общества под его модернизацией понимается, коротко говоря, переход от состояния архаичности и традиционности к буржуазной цивилизации, цивилизации более высокого уровня. Как таковой процесс модернизации охватывает все стороны жизни общества, включая и внешнюю политику.

В Западной Европе эта переходная стадия к модернизации заняла XVI–XVIII вв. В Балканских землях, где традиционно сохранялось преобладание сельского населения, где веками господствовал тип культуры, связанный с землей и ее использованием, а все экономическое мироздание держалось на аграрном цикле (природной цикличности), подступы к переходной эпохе образовались позже. Основой для этого послужило появление и здесь ростков капитализма. Однако в отсутствие такого мощного импульса, каким на Западе явилась Реформация, процессы общественного преобразования развивались на Балканах значительно медленнее.

В то же время зарождение капитализма в Османской империи, а вслед за ним и идеи Танзимата наложило свой отпечаток на характер борьбы, ведущейся за влияние на Балканском полуострове между Францией и Англией, с одной стороны, и Россией, с другой стороны, и может быть учет этого обстоятельства помогает лучше понять рождение такого феномена как Сан-Стефанская Болгария.

Дело в том, что в своем стремлении добиться политического преобладания на Балканах западные государства и Россия опирались на разную тактику. Российская политика, преследовавшая цель разрушения султанской империи [1. С. 247], имела в виду предоставление автономий христианскому населению по

Гришина Ритта Петровна – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН.

Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект № 04-01-00-197а.

этнографическому принципу, и тем самым как бы прогнозировала на будущее строительство здесь государств-наций; а именно этот тип государства являлся тогда идеалом модернизировавшихся западноевропейских стран. Такой выбор России выглядит несколько парадоксально, если учесть, что сама она сильно отставала в буржуазном развитии от западных стран, а они в данном случае были нацелены лишь на формальную поддержку османских реформ и потому всячески противодействовали российской дипломатии в достижении ее целей.

Последнее обстоятельство особенно четко явствует из памятной записки русского посланника в Царьграде графа Н.П. Игнатьева императору. Он писал 8 января 1868 г.: “Вопрос о реформах в Турции всегда ставит нас в затруднительное положение, так как не будучи разрешен в центробежном направлении в соответствии с традициями различных национальностей, он вреден для преследуемой нами цели. Улучшения, требуемые европейцами, обычно диаметрально противоположны нашим представлениям и имеют стремление денационализировать христианское население, цивилизую их и все больше и больше подчиняя Западу (курсив мой. – Р.Г.).” Озабоченность российских дипломатов вызывало еще и то, что в их представлении западное влияние уже достаточно укрепилось в Сербии и Румынии, и преодолеть его России будет трудно.

В “частном и строго доверительном” письме от сентября 1867 г. Н.П. Игнатьев обращал внимание министра иностранных дел А.М. Горчакова на следующее: “Сомнительно рассчитывать на поддержку Франции и Англии в этом специальном вопросе. А без согласования с тремя великими державами вопрос невозможно обсуждать в Царьграде. И таким образом осуществление наших желаний может произойти только в результате разорительной для турок и их союзников войны... Мой опыт учит меня, что иным способом просто невозможна заставить османское правительство одобрить наши идеи об автономиях” [2. С. 98]. Иными словами, Н.П. Игнатьев не только не исключал возможность новой войны России с Турцией, но и полагал ее почти неизбежной. Считая, что “разграничение по народному признаку является может быть самым радикальным и абсолютным решением, которое можно придумать по Восточному вопросу”, он в то же время отдавал себе отчет в большой трудности этого дела, поскольку, отмечал он, “географического разделения никогда не существовало в Османской империи” [2. С. 98].

Вероятно, все эти нюансы, в том числе личное, собственное отношение Н.П. Игнатьева к проблеме (см. [1. С. 251–279]), сыграли определенную роль в деле подписания после победного завершения русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Сан-Стефанского мира. Провозглашение Сан-Стефанской Болгарии вызвало в Европе большой переполох своей дерзостью, явилось чем-то вроде дипломатического “марш-броска”. Сан-Стефано оказались недовольны не только на Западе, но и на Балканах: болгары – его отменой, сербы самим этим прискорбным для них актом. В апреле 1901 г. сербский король Александр в беседе с писателем и публицистом А.В. Амфитеатровым сетовал: “Когда граф Игнатьев создавал Сан-Стефанскую Болгию, это было равносильно разделу Балканского полуострова между Австро-Венгрией и Россией. Последняя отбирала под свое непосредственное влияние, под свою опеку восточную полосу от моря до моря под болгарским флагом, а наш сербский угол отходил под австро-венгерское влияние. Прекрасная размежевка по карте, но при этом немногого забыли посчитаться и с историей, и с психологией народов. Нас уступали австро-венгерскому влиянию? Да зачем же? Мы прежде всего не хотим австро-венгерского влияния. Мы не хо-

тим быть с Австрией, не хотим быть со швабами. Мы хотим быть с Россией и славянами” [3. С. 458].

В работах современных российских историков нередко отмечается, что Берлинский конгресс 1878 г. был дипломатическим провалом России, что он прозвучал погребальным звоном для русской внешней политики (см., например, [4. С. 30]). Собственно говоря, в этом современники вторят некоторым исследователям XIX в., утверждавшим, что Россия в результате своей политики не только не добилась поставленных целей, но и осталась совершенно изолированной, без союзников и друзей [5. С. 717].

Неловкий дипломатический шаг отразился на всей дальнейшей внешнеполитической деятельности императорской России: после тяжелой войны 1877–1878 гг. она уже не находила в себе сил, чтобы активно и решительно влиять на судьбу балканских народов и на долгие десятилетия вынуждена была ограничиться политикой миролюбия, сохранения *status quo*, не отдавая предпочтения кому-либо из балканских славян, политикой, которую последние не понимали и не принимали. Собственно говоря, внешнеполитического миролюбия требовали и внутренние обстоятельства, сложившиеся в России в царствование Александра III, да и в последующие годы. России действительно необходимо было внутренне “сосредоточиться”, как говорил один из ее министров, в том числе и для того, чтобы несколько самортизировать удар, нанесенный, прежде всего, по дворянству и крестьянству реформами 1860-х годов, и вместе с тем – продвигаться дальше по пути модернизации.

В идеале модернизационные процессы в любом государстве требуют сплочения общества, и войны, милитаристская политика только наносят ущерб в этом деле. Не случайно часть российской правящей верхушки, понимая опасность возникновения войны для успеха внутренней модернизации, настаивала на разрешении возникавших конфликтов мирным путем. К ним принадлежали, например, С.Ю. Витте, П.А. Столыпин. К этому можно присовокупить и инициативу России по созыву едва ли не первой международной конференции в Гааге по разоружению.

А в преддверии Балканских войн 1912–1913 гг. Россия, согласно аутентичным материалам из личного фонда Стефана Савчева Бобчева – полномочного министра Болгарии в Петербурге в начале XX в., делала все возможное, чтобы примирить соперников. Российская дипломатия в то время не одобряла планов военных действий против Турции, считала их поспешными и сомневалась в успехе балканских союзников. В связи с этим она неоднократно предупреждала болгарского посланника, что Россия не готова помогать его стране, и если война начнется – болгары будут предоставлены собственной судьбе. Министр иностранных дел С. Сазонов, которого отнюдь не относили к любителям компромиссов, открыто заявил С. Бобчеву: Россия будет биться только в случае, если ее границы подвергнутся нападению и если какое-либо государство захочет утвердиться в Дарданеллах. Дарданеллы, – продолжал он, – являются для нас жизненным вопросом и мы считаем их своего рода нашей границей. Делайте, что хотите, но знайте, что мы не откажемся от наших интересов, чтобы спасти вас [6. С. 37].

Тем не менее Берлинский конгресс 1878 г. стал важнейшим рубежом в развитии государственности большинства балканских народов. Хотя часть населения Балкан, в том числе православного, вынужденно еще оставалась под властью османов, возникшие здесь независимые или полунезависимые государства –

Сербия, Черногория, Румыния, Болгарское княжество, получили возможность интенсивно развиваться и стали строиться, подчеркнем это, как государства-нации. Их модернизация происходила сложным путем: свое государственно-политическое оформление они получили по западноевропейскому образцу – принятые здесь либерально-демократические конституции предусматривали выборные парламенты, строительство партий и участие их в управлении, формирование новой судебной системы и т.п. Но все эти новшества очень мало соответствовали как социально-экономической базе новообразованных государств, так и ментальности их населения, на 80% состоявшего из крестьян. Вряд ли продуктивно совершенно отрицать значение принятия либерально-демократических конституций и норм государственной жизни для политического воспитания какого-либо балканского народа, вступившего в конце XIX в. на новый путь. Даже учитывая, что схожесть их политических институтов с политическими учреждениями Запада не могла не быть во многих отношениях лишь внешней. Внутреннее несоответствие привнесенных норм жизни уровню развития новообразованных государств сохранялось в течение долгого времени. И 20 лет спустя после принятия Тырновской конституции болгарский экономист Кр. Крыстев отмечал: “У нас действительно институты самых передовых государств XIX в., но наши собственные идеи государства относятся к XV и XVI векам”(цит. по [7. С. 34]).

Остановлюсь далее только на двух важных вопросах, связанных с организацией процесса модернизации в балканских странах. Первый вопрос касается роли и места государства в ней, второй – идеи нации и национализма.

Из-за отсутствия или ущербного характера социально-экономических и психологических предусловий модернизации в аграрных странах именно государство становится главенствующим в деле реформирования большинства сфер общественной жизни. В самой стратегии ускоренного становления буржуазных отношений, считает, например, российский военный социолог А.И. Панов, уже заложены предпосылки повышения роли централизованного государства, что обуславливается слабостью инфраструктуры гражданского общества. Происходит усиление тех органов государственного аппарата, которые являются инструментом исполнительной власти [8. С. 43]. Особенность стратегии правящих кругов балканских стран заключалась в том, что из-за недорешенности в каждой из них национального вопроса и непосредственно связанных с этим территориальных проблем центральная власть стремилась использовать мобилизационные возможности общества не столько для внутреннего развития своих государств, сколько для решения внешнеполитических задач, настраиваясь, особенно с начала XX в., на постоянную готовность к войне (чего, повторюсь, не могла позволить себе тогда Россия). Задачи внутреннего строительства отодвигались таким образом на задний план. Это – очень важное обстоятельство, именно оно в большой степени определяло как темп, так и направление, да и сами возможности хода внутренних модернизационных процессов на Балканах.

Что касается проблемы формирования нации, то думается, что вопрос о том, что происходит раньше: закрепление международного статуса нового государства, стимулирующего затем формирование нации, или борьба уже сложившейся нации за собственное национальное государство, – сколастичен по существу, ибо очевидно, что оба процесса взаимосвязаны, причем это относится как к западноевропейскому, так и к балканскому субрегионам.

Однако обратим внимание на появление в XIX в. крылатого выражения: “Италия создана, теперь нужно создать итальянцев”. Схожий с ним внутренний смысл отражен в названии вышедшей в 1976 г. книги американского исследователя Е. Вебера “Из крестьян во французов”, посвященной периоду с 1870 по 1914 гг. В ней на обширном материале проанализирован путь крестьянской страны от замкнутости и провинциализма к единой и неделимой Франции.

Акцент на этих деталях я делаю специально, потому что процесс преобразования крестьян в нацию на самом деле является едва ли не главным, определяющим фактором успешной модернизации, и он действительно оказывается самым трудным и не способным к быстрому протеканию. Отсюда такие трудности на Балканах, в том числе с ходом формирования нации, – слишком велика здесь крестьянская масса, как правило, не принимающая модернизации, сопротивляющаяся ей, вплоть до создания оппозиционных крестьянских партий.

Размышая на тему о нации и государстве, современный английский исследователь М. Хейнс присоединяется к тем, кто предлагает переосмыслить само представление о нации. Известно, что ни один из вариантов определения нации (а их накопился целый Вавилон (см., например, [9. С. 29–37])), предложенных в разное время обществоведами разных школ, не утвердился, да и не мог утвердиться в качестве общепринятого понятия: оно, как и некоторые другие (например, фашизм), будучи широко применяемыми в политической практике, пришли оттуда в науку, где заняли видное место, но несут нагрузку главным образом по линии “актуальности”.

Обосновывая свое предложение, Хейнс замечает, что “нация” не обладает объективной основой и является мифом, созданным заинтересованными политиками. Он указывает далее, что в установлении национальной идентичности очень велика роль политического фактора; например, спрашивает он, какова идентичность населения по обе стороны границы, или какова роль государства при определении, какой из диалектов становится национальным языком. Кроме того, “национальная культура”, по его мнению, создается превращением культуры данной группы в культуру более широких слоев населения [10. С. 222].

Мы с утверждавшимся в отечественной науке многоступенчатым построением “этнос–народность–нация”, растягиваемым на несколько столетий и с переводом указанных понятий “по мере их развития” из одного качества в другое (см., например, [11]), вряд ли готовы целиком поддержать этот подход. Но, несомненно, что приведенные зарубежными коллегами доводы имеют под собой некоторые основания, что в частности подтверждает баланская практика национального и государственного строительства в XIX в.

Здесь идея нации и националистическая идеология не только активно культивировались во вновь созданных государствах, но очень скоро становились государственными. Для этого действительно требовались усилия субъективного фактора, поскольку, по мнению известного специалиста в данной области Э. Геллнера, нации не даны нам от природы, как и национальные государства не были “заранее предопределенной кульминацией развития этнических и культурных групп” [12. С. 114–115].

В условиях Балкан с их этнической чересполосицей, с частой вынужденной миграцией населения из страны в страну особенно трудно определить, когда “начинается” собственно нация, и также затруднительно сказать, когда строительство ее более или менее состоялось. В таких условиях “национальный вопрос” обретает качество *regpetrum mobile*, вызывает постоянное беспокойство

со стороны интеллигентской общественности и властей, требует к себе большого внимания. Показательно, например, с каким вниманием премьер-министр Болгарии А. Ляпчев, согласно воспоминаниям его секретаря, относился к расселению в конце 1920-х годов в его стране масс иммигрантов-беженцев, давая конкретные указания, какую группу в какое место поселить в зависимости от господствующего в этом месте диалекта и ментальных свойств населения [13. С. 56–57].

Балканские государства, приняв западноевропейский “головной убор” в виде либерально-демократических государственно-политических учреждений, в остальном (внутреннем смысле) пытались модернизировать общество преимущественно по российскому образцу, т.е. прежде всего с помощью и при решающей роли государства – на основе огосударствления и экономики, и различных самодеятельных структур, в том числе далеко не только хозяйственных. И в этом заключалась угроза самому процессу буржуазной модернизации, ибо известно, что ключевым ее вопросом является функционирование экономики (как базисной структуры) вне влияния государства, но в сфере рынка и гражданского общества; обюрокраченное же государство, на протяжении длительного времени располагающее руководящими экономическими и прочими функциями, само становится камнем преткновения на пути преобразования общества, его социальной структуры, включая задачу сокращения довлеющей в ней доли крестьянства. Ибо в конечном счете одним из главных столпов модернизационного процесса является *изменение социальной структуры, доставшейся вновь созданному государству от предшествующего традиционного общества*, что только и может позволить этому государству серьезно перестраиваться во всех областях жизни и развиваться “с нарастанием”.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Хевролина В.М. Российский дипломат граф Николай Павлович Игнатьев. М., 2004.
2. Русия и българското национално-освободително движение. 1856–1876. Документи и материали. София. 2002. Т. 3.
3. Руские о сербах и Сербии. СПб., 2006.
4. Боянов А. Император Александр III // Император Александр III и императрица Мария Федоровна. Переписка. 1884–1894 годы. М., 2001.
5. Погодин С.Ф. Лекции по русской истории. Учебник русской истории. СПб., 1993.
6. Кшикилова П. Българо-руските отношения през погледа на дипломата С.С. Бобчев (октомври 1912 – септември 1913) // България и Русия през XX век. Българо-руски научни дискусии. София, 2000.
7. Аврамов Р. Столпянският XX век на България. София. 2001.
8. Панов А.И. Офицерски корпус в военных режимах XX века. М., 1999.
9. Альтерматт У. Этнонационализм в Европе. М., 2000.
10. Хейнс М. Историкът и идеята за нацията // Исторически преглед. София. 1998. № 5–6.
11. Литаврин Г.Г. Этнос–народность–нация // Человек на Балканах в эпоху кризисов и этнополитических столкновений XX в. СПб., 2002.
12. Гелнер Э. Нации и национализм. М., 1991.
13. Янчулев М. Септември 1918 – септември 1944 // Научен архив на Българската академия на науките. Сб. IV. А.е. 194. Ч. 1.



© 2006 г. И. В. ОМЕЛЬЯНЧУК

УКРАИНСКИЙ И ПОЛЬСКИЙ ВОПРОСЫ В КОНТЕКСТЕ ЭТНОПОЛИТИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИДЕОЛОГИИ КОНСЕРВАТИВНО-МОНАРХИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ НАЧАЛА XX ВЕКА

С началом XX в. наряду с революционно-освободительным движением, серьезную угрозу для самодержавия стали представлять и усилившиеся на окраинах империи движения национальные, требовавшие культурной, а иногда и политической автономии. Консервативно-монархические проправительственные партии¹ однозначно оценили требования введения автономий для “инородческих”² областей как “потрясение основ” русской государственности. Кроме того, из парадигмы черносотенной³ идеологии, жестко связывавшей самодержавие с особенностями русского национального духа, следовало, что все “инородческие” движения, объективно направленные против господства русской нации, одновременно подрывают и устои самодержавия. Таким образом, для правых борьба против “инородческого сепаратизма” и защита “русской народности” являлась одновременно и защитой самодержавной монархии.

Для выявления позиций консервативно-монархических партий по украинскому и польскому вопросам в статье были использованы материалы фондов Всероссийского Дубровинского Союза русского народа (ВДСРН) [1. Ф. 116] и Русского народного союза имени Михаила Архангела [1. Ф. 117] Государственного архива Российской Федерации, в которых отложились материалы, характеризующие позицию как центральных органов, так и региональных отделов этих организаций, а также материалы Центрального государственного архива Украины в г. Киеве, содержащие программные документы правых организаций [2. Ф. 442, 1439] и сведения властей о деятельности представителей украинских националистических партий [2. Ф.442].

Омельянчук Игорь Владимирович – канд. ист. наук, доцент Харьковского экономико-правового университета.

¹ Имеются в виду Всероссийский национальный союз и организации, находящиеся в политическом спектре правее его.

² Термины “инородец”, “малороссийский” и т.п. употребляются в статье в том значении, которое было принято в начале XX в., без какой-либо негативной оценочной окраски.

³ В данной работе термины “консервативный”, “монархический”, “черносотенный” и “правый” являются синонимами, хотя единого мнения о семантической обоснованности такого объединения вышеизложенных определений в одну категорию по отношению к началу XX ст. в отечественной исторической науке не сложилось.

Важнейшими источниками для данного исследования послужили материалы монархической прессы того периода. Главное внимание автор уделил харьковскому изданию “Мирный труд”, в котором публиковались ведущие публичные политики и идеологи правых. Формат журнала позволял “Мирному труду” помещать не только публицистические статьи, но и серьезные теоретические работы представителей монархического лагеря. Интересные материалы по национальному вопросу в идеологии монархистов публиковали “Московские ведомости”, долгое время служившие флагманом консервативной прессы, а также газета “Кремль”. Важной составляющей источников базы данной работы являются труды ведущих идеологов и политиков правого лагеря Л.А. Тихомирова, А.А. Майкова, С.Ф. Шарапова, А.С. Будиловича, А.И. Соболевского и Д.И. Иловайского⁴. Кроме того, в работе использованы материалы монархических съездов, программные документы монархических организаций, резолюции партийных форумов правых, а также сведения из кулуаров Государственнойдумы. Представляют интерес и материалы сборников Киевского клуба русских националистов (ККРН), в деятельности которого национальный вопрос и, в частности, его украинская составляющая, занимали важное место.

В своих трудах идеологи правых чаще использовали термин “народность”, лишь Л.А. Тихомиров да М.О. Меньшиков употребляли категорию “нация”. Но предикатом субъекта “народность” в трудах монархистов являлось слово “национальный”, а отнюдь не “народный”, что свидетельствовало об определенном смешении дефиниций. В основном, правые под термином “народность” все же понимали нацию, но не как политическую или этническую общность, а как культурно-конфессиональное объединение с открытыми границами. Так представитель Русского собрания генерал М.М. Бородкин народность трактовал одновременно и как национализм, и национальность [3. 1904. № 1. С. 30].

Но большинство монархистов исходили из противопоставления понятий нации и народности. В “Своде основных понятий и положений русских монархистов”, выработанном Программным разрядом IV Всероссийского съезда Союза русского народа (СРН) и V Всероссийского съезда Русских Людей (Санкт-Петербург, 13–20 мая 1912 г.) нация трактовалась, в соответствии с принятым в Европе понятием как “искусственное общество людей разного рода и племени, разно верующих и не всегда говорящих одним языком, но сплоченных одной цивилизацией и подвластных одному государству”. Народность же “есть соборность рода, языка и быта страны (отечества, родины), связанная верою, просвещением и предопределенностью Господом Богом Целесообразностью”. По мнению авторов “Свода”, четыре признака, свойственные народности, не обязательны для нации: вера, страна, государственность, род. Так, французская нация

⁴ Д.И. Иловайский – действительный член Русского Собрания, член Союза русских людей, его “самоотверженное служение русской государственной идеи” отмечалось многими правыми деятелями, в частности представителями Русской монархической партии (РМП). На свои средства Д.И. Иловайский издавал газету “Кремль”, которая по его же словам “принадлежит к органам черносотенным, т.е. русским” (см. [4. 1906. 19 октября. №№ 26–28]). А.И. Соболевский – член Главного совета Союза русского народа, после раскола которого встал на сторону А.И. Дубровина и вступил в созданный последним ВДСРН, занявший крайне правый фланг в российской партийной системе. А.С. Будилович официально не принадлежал ни к каким партиям, но именно ему в октябре 1907 г. после смерти редактора “Московских ведомостей” В.А. Грингмута было предложено возглавить это издание, служившее печатным органом РМП и долгое время бывшее флагманом консервативной печати в России.

обходится без веры и вероисповедания, австрийцы без рода и племени, евреи без страны и земли, а цыгане без государственности [4. Т. 1. С. 208].

Критерий принадлежности к “русской народности” (или нации) сформулировал товарищ министра просвещения при Александре III князь М.С. Волконский: “Только православный считался истинно русским, и только русский мог быть истинно православным” [5. С. 336]. Черносотенцы начала XX в. разделяли эту точку зрения. Один из руководителей Петербургского Русского собрания И.Л. Мордвинов утверждал: “...Для того, чтобы сделаться русским человеком, прежде всего надо быть православным; только православие производит и поддерживает русскую национальность” [3. 1905. № 5. С. 167]. По мнению Д.И. Иловайского, православие также есть главный признак русской народности [6. 24 II 1905].

СРН в полном соответствии с официальной точкой зрения, в том числе принятой и в науке, все восточнославянские народы объединял в рамках единой русской нации. В уставе этой организации провозглашалось: “Союз не делает различия между великороссами, белороссами и малороссами” [2. Ф. 442. Оп. 636. Д. 647. Ч. 2. Л. 144]. Член Главного совета СРН М.Ф. Таубе даже включал в состав русского народа литовцев, вероятно исходя из того факта, что долгое время в Великом княжестве Литовском официальным языком являлся русский. “Великоруссизм, малоруссизм (украинство), белоруссизм и литвинизм составляют как бы притоки одного великого разлива великорусского”, – писал М.Ф. Таубе [3. 1906. № 8. С. 109]. По мнению академика А.И. Соболевского только интеллигенция различает три ветви: малоруссов, белорусов и великорусов [3. 1907. № 6–7. С. 48]. П.И. Ковалевский, говоря о русских, украинцах и белорусах, утверждал: “Были они один народ, есть один народ и будут во веки веков единым и нераздельным народом” [7. С. 295]. Лучшее перо Всероссийского национального союза (ВНС) М.О. Меньшиков также не разделял восточнославянские народы на отдельные нации и, противопоставляя их остальным народностям России, заявлял: “Вместе с малороссами и белорусами мы – через национальную Думу нашу – должны сказать громко бушующей инородчине: нация – это мы” [7. С. 234]. В уставах других правых организаций подобного положения зафиксировано не было, хотя они разделяли эту позицию, что отражалось в выступлениях и публицистике их членов.

Монархисты не признавали никакого языка кроме русского в качестве государственного. В программе Русского собрания говорилось: “Русский язык есть государственный язык, и все правительственные учреждения должны пользоваться государственным языком, неуклонно и настойчиво стремясь к единству языка во всех отраслях жизни” [8. С. 131]. СРН в своем уставе усилил формулировку, назвав русский язык “господствующим” [2. Ф. 442. Оп. 636. Д. 647. Ч. 2. Л. 144]. В резолюциях I Всероссийского съезда Русского собрания (Петербург, 8–12 февраля 1906 г.) среди первоочередных задач правительства называлось “неотложное принятие мер к восстановлению попираемого ныне достоинства русского имени и к отведению русскому языку подобающего ему, как государственному языку, значения” [4. Т. 1. С. 127]. Представитель ВНС Н.И. Герасимов отнес требования обязательности общегосударственного статуса русского языка и общности русской национально-государственной культуры к “пунктам нашей непримиримости”, наряду с требованием “нераздельности русского царства” [7. С. 220]. Лишь внепартийный идеолог правых Л.А. Тихомиров считал, что “в местностях сплошь инородческих в дополнение к государственному язы-

ку может быть допускаем, как дополнительный, также и местный язык”, но, по его мнению, “это имеет разумный смысл только до тех пор, пока все население не успело изучить государственного языка” [9. С. 611].

Л.А. Тихомиров, отстаивая имперский принцип функционирования государства (он даже сравнивал русских с римлянами), при котором политическими правами обладает лишь титульная нация, доказывал, что сохранить самодержавие можно лишь при исключительном положении русских в государственном механизме России. Он утверждал, что “политика должна быть национальной”, так как «монархия возможна лишь в нации, т.е. в обществе с установленвшейся внутренней логикой развития, с известной преемственной традицией, с тем, что составляет “дух народа”» [9. С. 585]. По мнению Л.А. Тихомирова, “без существования единого духа в нации, составляющей государство, истинная монархия невозможна”. Поэтому для функционирования самодержавной политической системы в “разноплеменном государстве... необходимо преобладание какой-либо одной нации, способной давать тон общей государственной жизни и дух которой мог бы выражаться в верховной власти” [9. С. 609].

“Преобладание русской народности” отстаивали и другие представители монархического лагеря. М.М. Бородкин утверждал, что лозунг “Россия для русских” должен “служить руководящим началом во всей политике и в нашей повседневной жизни” [3. 1903. № 5. С. 191]. “Мы считаем, что в пределах нашего отечества первенствующее место должно принадлежать русским. Для себя, а не для других мы строили свой дом” [3. 1905. № 1. С. 26] – настаивал председатель Русского собрания Д.П. Голицын. “Россия не для жидов, поляков и финляндцев, а, наоборот – для русских”, – писал орган РМП газета “Московские ведомости” [10. 11 I 1906].

Аналогичные положения вошли и в партийные документы правых. Устав СРН провозглашал: “Все учреждения Государства Российского объединяются в прочном стремлении к неуклонному поддержанию Великой России и преимущественных прав русской народности”, которой должно принадлежать “первенствующее значение в государственной жизни и государственном строительстве” [2. Ф. 442. ОП. 636. Д. 647. Ч. 2. Л. 144]. Даже весьма умеренный ВНС главным условием сохранения территориальной целостности Российской империи считал “ограждение во всех ее частях господства русской народности” [2. Ф. 1439. Оп. 1. Д. 1377. Л. 1]. В уставе ККРН говорилось: “Русскому народу, своими трудами, страданиями и кровью создавшему великое Российское государство, принадлежат в России державные права по отношению к другим народам” [11. Вып. 4–5. С. 220].

Авторы устава СРН предполагали, что “господство русской народности” отнюдь не будет препятствовать “множеству инородцев” считать “за честь и благо принадлежать к составу Российской империи” [2. Ф. 442. Оп. 636. Д. 647. Ч. 2. Л. 143]. Мысль о том, что Российская империя оказывает цивилизаторское влияние на другие народы и, стало быть, высшим благом для “инородцев” является не автономия, а вхождение в состав русского народа, стала традиционной для российских монархистов. В частности, Л.А. Тихомиров утверждал, что “русская национальность есть мировая национальность, никогда не замыкавшаяся в круге племенных интересов, но всегда несшая идеалы общечеловеческой жизни, всегда умевшая дать место в своем деле и в своей жизни множеству самых разнообразных племен. Именно эта черта и делает русский народ великим мировым народом и, в частности, дает право русскому патриоту требовать гегемонии

для своего племени". Отсюда следует, по мнению Л.А. Тихомирова, что "наше господство дело не просто национального эгоизма, а мировой долг" [12. С. 168, 362].

По мнению М.М. Бородкина, русская культура, возможно, и развивается медленнее европейской вследствие множества объективных исторических причин. Но «если бы даже и допустить, что наша культура ниже культуры западных окраин... Разве мы своей "отсталостью", своим "варварством" мешаем развитию культуры на окраинах?» – спрашивал М.М. Бородкин. "Напротив, – утверждал он, – мы им дали возможность окрепнуть. Польша, Финляндия и Остзейский край расцвели *после* их присоединения к России. Русский меч оберегал их; русская казна содействовала им. Но почему мы действительно препятствовали, так это развитию государственной обособленности. Отсюда произошли все те крики об угнетении инородцев, которые стали оглашать Россию и Запад" [3. 1903. № 5. С. 191].

А.С. Вязигин с трибуны Государственной думы утверждал: «...У нас вырабатывается понятие "великой семьи русского народа". В ней может найти место одинаково и инородец, если только он не стремится причинить вред этой самой великой семье» [13. С. 311]. В программе Казанского царско-народного русского общества говорилось: "...Мы достигнем того, что окраинные народы забудут горе утраты своей политической самостоятельности или былой связи с другим государством, видя возрождение своей национальности при содействии сильных братьев, в единении с которыми будут сильны и они. Благодаря этому окраинные инородцы не только не будут тяготиться принадлежностью своею к составу Русского государства, но, наоборот, у них возникнет сознание, что их национальная самостоятельность только тогда и оказывается вне опасности, когда она поконится под охраною сильного и ни в чем не стесняющегося брата – русского народа. Тогда естественным порядком утвердится и свободная связь окраин с центром на взаимности экономических и политических интересов, на выгодности и почетности быть членами русского государственного организма" [14. С. 57].

Д.И. Иловайский утверждал, что окраины страны, "особенно западные и южные, стали жиреть за счет Русского центра, который явно захирел" [6. 24 II 1905]. По мнению одного из лидеров СРН А.А. Майкова, "в то время как на наши инородческие окраины тратили деньги, проводили по ним сети железных дорог, предоставляли им всякие привилегии и льготы, создавали промышленность и поддерживали ее кредитами, для русского коренного населения, на котором лежало, однако, главное бремя налогов, делалось весьма мало, и о нуждах его весьма мало заботились" [15. С. 30]. А.П. Липранди, утверждавший, что "все наши инородческие окраины существуют за счет коренной России, т.е., говоря проще, за счет русского народа, которому приходится нести двойную финансовую тяготу", доказывал это с помощью статистических данных, приводимых государственным контролером финансов П.Х. Шванебахом: Россия платит окраинам на 168 млн рублей больше, нежели от них получает. По данным А.П. Липранди, за каждый рубль платимого государству налога Польша получает обратно – 1 р. 14 к., Балтийский край – 1 р. 29 к., Литва – 1 р. 31 к., Кавказ – 1 р. 46 к. Коренная же Россия получает от 47 (великорусские губернии) до 92 (малорусские губернии) копеек [3. 1910. № 4. С. 46–47].

Черносотенцы утверждали, что Российская империя, лишив присоединенных "инородцев" политических прав, отнюдь не стремится к их русификации и

оставляет в неприкосновенности их культурные права, не мешая их самобытному развитию. А.С. Вязгин подчеркивал, что в отличие от европейских государств, “у нас нет гонений на народные языки.., у нас рядом с русскими, безвозвратно существуют инородческие школы... Местные правовые обычаи и законы у нас остаются неприкосновенными, поскольку их существование совместимо с интересами целого – с благом империи и общеимперскими нуждами” [3. 1904. № 9. С. 159]. Член Петербургского отдела Русского собрания Ф.С. Хлеборад подчеркивал, что “Россия насилино обрушить не русских никогда не стремилась, и своих народностей никогда не угнетала, а наоборот, будучи всегда их добрейшей матерью, их защищала” [3. 1910. № 5–6. С. 240]. По мнению Д.П. Голицына, из господствующего положения русской народности “не следует, что наше отношение к инородцам должно быть враждебным. Россия завоевала окраины не для того, чтобы с ними воевать, а для того, чтобы жить с ними в дружбе”. “В инородцах мы хотим видеть будущих русских людей”, – писал председатель Русского собрания [3. 1905. № 1. С. 26–27]. Таким образом, правые, отрицая и факт, и необходимость насильственной русификации “инородцев”, тем не менее считали, что конечной целью национально-государственной политики все же должно стать “добровольное и мирное” слияние инородцев с “господствующей народностью” [3. 1904. № 9. С. 160].

Монархисты, отстаивая “единую и неделимую”, все же оставляли за инородцами право на сохранение национальной самобытности и некоторое самоуправление. В программе Русского собрания говорилось: “Чуждое стеснению местной жизни, управление окраинами должно ставить на первое место общегосударственные интересы и поддержку законных интересов русских людей” [8. С. 131]. М.М. Бородкин писал: “Крепость государства требует, чтобы инородцы, сохранив свой язык, нравы, обычаи, уклад жизни, свои порядки внутреннего управления и проч., были русскими по своим политическим чувствам, общим мировым стремлениям” [3. 1909. № 12. С. 72]. В.А. Бобринский подчеркивал: “Мы желаем культурного национального развития инородцев, которые находятся под русской державой, но при соблюдении русских государственных интересов, которые им, инородцам, еще более необходимы, чем нам, русским” [7. С. 238].

Лидеры Дубровинского СРН считали, что имеющиеся у инородцев свободы даже превышают аналогичные права русских, поэтому ставить вопрос об их расширении нет никаких оснований. В постановлениях Всероссийского съезда ВДСРН “О Православной церкви” говорилось: “Русские люди не против свободы инородцев. Но русские люди просят свободы и себе, хотя бы только равной” [16. С. 8].

Но если местное самоуправление национальных окраин, хотя и с большими оговорками, все же допускалось, то влияние инородцев на государственную политику и принятие политических решений правые изначально стремились свести к минимуму. Еще в конце XIX в. Л.А. Тихомиров предостерегал против предоставления одинаковых прав народам, игравшим различную роль в создании российской государственности. В этом случае, по его мнению, власть перестанет быть русской и православной. Став равноправными с русскими, поляки, финны, немцы легче бы сорганизовались против правительства, а русские поданные не поддержали бы его, не ощущая своим [5. С. 339]. “Несомненно, что первым последствием перехода верховной власти к представителям различных племенных групп, населяющих Россию, будет требование этими представителя-

ми особого от России существования этих групп”, – писали “Московские ведомости” [9. 2 II 1905]. Согласно постановлениям III Всероссийского съезда Русских Людей (Киев, 1–7 октября 1906 г.) в центральных государственных органах власти число “инородцев” не должно превышать 5% [17. С. 189].

Предоставление каких-либо политических прав окраинным народам черносотенцы жестко связывали с их лояльностью к Российской империи. “...Но коль скоро выяснилось, что от таких-то [инородцев] нельзя ожидать содействия общему делу, тогда о равенстве всех перед лицом Руси не может быть и речи”, – писал Д.П. Голицын [3. 1905. № 1. С. 27]. “Московские ведомости” подчеркивали, что каждую народность приобщать “к благам государственного быта” следует в соответствии с “достигнутой уже ею степенью гражданственности” [10. 4 X 1905]. В постановлении общего собрания Житомирского отдела СРН “О мерах к прекращению смуты” от 30 июля 1907 г. говорилось: “Равноправие с русскими членами Думы может быть предоставлено депутатам от инородцев только впоследствии, когда окажется возможным допустить это без вреда для Русского народа” [1. Ф. 116. Оп. 1. Д. 104. Л. 2.].

Представитель ВНС, ординарный профессор харьковского университета по кафедре государственного права Н.О. Куплеваский выступал против предоставления “инородцам” политических прав, утверждая, что “под предлогом борьбы с царским самодержавием инородцы ведут борьбу с русским народом”. По его мнению, “все инородцы слишком открыли свои карты и показали полное пренебрежение к интересам русского народа” [7. С. 244, 146].

Активно выступали правые и против федеративного устройства России, к чему со временем “Конституции” Н.М. Муравьева призывала либеральная оппозиция. М.М. Бородкин в своем докладе “Западные окраины и русская государственность” утверждал: “Окраины взяты Россией в честном бою. Делать в них уступки, значит, содействовать развитию чужой государственности для уничтожения наследия наших предков, для подрыва внешней безопасности, для воспитания и укрепления враждебных нам элементов”. Поэтому “развивать федерацию в пределах России – нелепость и преступление”, утверждал генерал [3. 1903. № 5. С. 190–191]. СРН ограничился декларацией своей цели – сохранение унитарного государства, “России единой и неделимой” [2. Ф. 442. Оп. 636. Д. 647. Ч. 2. Л. 143].

Но наибольший отпор идеи “инородческого” автономизма получили со стороны представителей умеренно-правого ВНС, для которых национальный вопрос был краеугольным камнем политической доктрины. “Совершенно не стремясь к насильственной русификации, мы все же не можем допустить государственной обособленности наших окраин, чтобы наши окраины превратились в союзные того или другого типа государства”, – подчеркивал Н.Н. Ладомирский [7. С. 222]. А.А. Сидоров, предупреждая об опасности федерализма для России, писал: “Осуществление этой идеи у нас, вследствие сепаратистских стремлений наших инородцев, быстро привело бы к ослаблению связи между отдельными областями, а затем и к распадению государства”. При этом “русские в федеративной России оказались бы в положении илотов” [7. С. 224]. Н.О. Куплеваский утверждал, что за требованием автономии стоит стремление инородцев “низвести русское население и русское государство на степень полудиких и немощных государств, служащих предметом эксплуатации со стороны более сильных народов” [7. С. 244]. В уставе ККРН, категорически утверждалось: “Никому не

должно быть даруемо никаких автономий, ибо это был бы первый шаг к расчленению России...” [11. Вып. 4–5. С. 220].

Еще одной причиной, обусловливавшей неприятие идеи автономизма ортодоксальными монархистами, стала российская консервативная политическая традиция, ведущая свое начало от эпистолярных посланий старца Филофея московским государям. Теория “Москва – третий Рим”, являющаяся краеугольным камнем историософских взглядов всех российских монархистов, начиная с XVI в. предопределяла великодержавные имперские амбиции консервативных идеологов и поддерживала в них мессианские настроения по отношению к присоединенным народам. По их мнению, “Святая Русь”, наследница Византии, должна собирать под свой скипетр иные земли и народы, неся им истину православной веры, а не отдавать территорию “инородцам” и инославным. Исходя из этого, любые попытки введения элементов автономизма или федерализма в политическую систему страны расценивались правыми как препятствие для выполнения Российской империей ее мессианской роли в мировой истории. Правда следует отметить, что С.Ф. Шараповым был разработан проект государственных преобразований, целью которого являлось, по сути, превращение России в федерацию, но федерация предполагалась территориальная, а ни в коем случае не национальная [18. С. 10–16].

Политическая реальность России начала XX в. не всегда втискивалась в прокрустово ложе теоретических схем монархистов, предполагавших мирное и добровольное слияние польского, финского и других народов с титульной нацией. Наоборот, “сепаратистские” устремления этих народов после первой русской революции только усиливались, так как они обладали высокой политической культурой и имели определенный исторический опыт государственности, оформленное (или формировавшееся, как на Украине) национальное самосознание и свою национальную интеллигенцию.

Лидер Союза Михаила Архангела (СМА) В.М. Пуришкевич одним из внешних проявлений “тяжелого недуга, мучающего Россию”, назвал подготовку “мятежа Финляндии, Польши и Украиной” [13. С. 311]. Именно поэтому “инородческий сепаратизм” был объявлен правыми самым опасным врагом империи, и на борьбу с ним монархисты обращали самое серьезное внимание. Ведущий публицист ВНС М.О. Меньшиков подчеркивал, что “инородческий вопрос – самый грозный из всех, ибо в нем дело идет о душе народной” [7. С. 217].

Правые, как уже указывалось выше, настаивали на том, что украинцы – не инородцы, а ветвь “великорусского племени”. “Малороссы – инородцы! Что за нелепость”, – писала черносотенная газета “Тверское Поволжье” [19]. Но усиление национального движения на Украине в начале XX в. заставило монархистов со всей серьезностью отнести к так называемому “малороссийскому сепаратизму”. Революционная буря 1905 г. вынудила царизм пойти на некоторые уступки в национальном вопросе, что еще более усилило украинское национальное движение, добившееся в этот период определенных успехов. В некоторых университетах были открыты кафедры украиноведения, украинские театральные труппы впервые со времен Валуевского циркуляра 1863 г. получили разрешение ставить спектакли во всех местностях, основывались украинские клубы, библиотеки. Земства вновь подняли вопрос о разрешении преподавания в начальной школе на украинском языке.

В 1905 г. в Лубнах стала выходить первая газета на украинском языке “Хлібороб”, затем в Киеве – “Громадська думка”, после чего издания на украин-

ском языке появились во многих городах Украины. В I и II Государственных думах сформировались украинские фракции, так называемые Громады со своими печатными органами (“Украинский Вестник” и “Рідна Справа – Вісті з Думи” соответственно), политической платформой которых была автономия Украины. Громады, выражая интересы украинской интеллигенции, с трибуны Думы требовали введения на Украине местного самоуправления, украинского языка в школах и учительских семинариях, судах, церкви, создания кафедр украинской литературы и истории в университетах [20. С. 424].

Все это свидетельствовало о появлении собственного национального самосознания, если не у украинского народа, то хотя бы у украинской интеллигенции, следствием чего рано или поздно должны были стать требования политического самоопределения нации.

Довольно долго монархисты просто закрывали глаза на подобные факты. Так, С.Ф. Шарапов еще в 1904 г. утверждал, что “в Малороссии культурная борьба закончена в пользу русского элемента” [18. С. 19]. Академик А.И. Соболевский в своих высказываниях был осторожнее, но и он оптимистично смотрел на процесс слияния украинского и русского народов. “Малорусы держатся крепко за свой язык и свои бытовые особенности. Столетия близкого соседства малорусов с великорусами не превратили их в великорусов; полной ассимиляции не последовало, но начало ей положено”, – писал он [3. 1907. № 6–7. С. 49]. А.С. Вязигин, выступая на I Всероссийском съезде Русского собрания, заявил: “...В Слободской Украине нет сепаратизма, и что отдельные голоса, временами раздающиеся в таком направлении, нельзя считать за голос целой области. Нет, древняя половецкая степь не думает и не желает отделения” [4. Т.1. С. 122].

Лишь известный славист А.С. Будилович в изданной в 1907 г. брошюре “О единстве русского народа”, осознав всю серьезность положения, писал: «Мы обязаны дать дружный отпор тем “украинцам”, которые – по святой ли простоте, или по интригам врагов, или, наконец, по корыстному желанию стать из вторых в городе первыми в деревне – упражняются теперь в раскалывании, то “немецким топором”, то “польскою пилою” самого ядра нашей земли и народности» [21. С. 43].

Официальные власти, обладая лучшими источниками информации, чем представители монархических партий, в период нового революционного подъема также забили тревогу. Киевский губернатор доносил: “В течение 1911 г. малорусская интеллигенция, питаясь сепаратистскими идеями из-за рубежа, сделала большие успехи в смысле пропаганды ложного учения о происхождении Украины, проповедуемого такими историками, как Грушевский” [2. Ф. 442. Оп. 861. Д. 259. Ч. 1. Л. 44]. В докладе жандармского полковника А.В. Мезенцова товарищу министра внутренних дел В.Ф. Джунковскому указывалось: «Начиная с 1905 г. все мазепинские партии в Галичине и их отделения в России окончательно осознали идею “Самостийной Украины” и всецело стремились только к тому, чтобы, использовав в удобное время переход Австрии через границу в Россию, и сейчас же вызвать мятеж, и затем отторгнуть Украину от России, и под скипетром Габсбургов основать “Украинское королевство”. По этому поводу даже был заключен формальный договор между эрцгерцогом Францем-Фердинандом и российскими мазепинцами. Именно в 1910 г. у эрцгерцога на аудиенции были: выдающийся мазепинский деятель Евгений Олесницкий и митрополит граф Шептицкий, а из России Е.Х. Чикаленко и Н.В. Лисенко из Киева и

Н. Михновский из Полтавы. Все они обещали эрцгерцогу вести пропаганду между малороссами в России в пользу австрийской династии» [22. С. 504].

Все это не могло не тревожить правительство и лояльные к нему политические силы. Поэтому на повестку дня встал вопрос об отношении черносотенцев к украинофильскому движению. Первыми откликнулись на эту проблему представители ККРН. 17 апреля 1909 г. на общем собрании с докладом на тему: «Политические требования украинофилов в изложении вождя последних проф. Грушевского» выступил А.И. Савенко. По мнению докладчика, «русское общество недостаточно ясно представляет себе истинную природу украинофильства и склонно смотреть на деятельность украинофилов как на нечто совершено невинное. В действительности же сумма требований украинофилов составляет именно то, что мы разумеем под сепаратизмом». Собрание, подчеркнув успехи украинофильской пропаганды, обратило внимание на необходимость бороться с ней контрпропагандой [11. Вып. 2. С. 13–14]. Несколько позже А.И. Савенко доказывал, что борьба с украинофильством «будет успешна только тогда, когда она будет вестись на всей территории расселения южноруссов, причем главные усилия должны быть направлены на цитадель украиноманства – Галицию». По его мнению, «бороться мерами полицейского запрета с движением идейным и чисто общественным, каковым, несомненно, представляется мазепинство, невозможно. Необходима борьба, прежде всего, идейно-общественная, и только такая борьба может иметь успех» [11. Вып. 2. С. 55].

17 ноября 1911 г. на специальном заседании ККРН А.В. Стороженко был сделан доклад на тему: «Сущность и значение украинофильства». Истоки этого течения, по мнению докладчика, восходят к 20-м годам XIX в., когда в католической базилианской школе в Умани поляки-учителя доказывали, что украинский народ – самостоятельная ветвь польского. Следующим этапом развития так называемого «мазепинства» было Кирилло-Мефодиевское братство, в котором наблюдалось «сильное влияние Польши». Впоследствии украинофильство находило поддержку в Австрии, которая хотела таким образом расширить свою территорию. По мнению А.В. Стороженко, «украинофильское движение выгодно для многих врагов России: папский престол надеется при помощи украинофилов и их видного деятеля в Галиции – униатского митрополита А. Шептицкого – поддержать униатство и перебросить его в Россию; австрийские немцы мечтают при помощи украинофилов создать Украинское государство под управлением Габсбургов; поляки мечтают на развалинах расколотой России воссоздать независимую Польшу; наконец, надеется извлечь выгоды и еврейство...». Вывод докладчика таков: «мазепинство» – явление, не имеющее исторических корней в Малороссии и привнесенное туда другими державами с целью присоединить ее [11. Вып. 4–5. С. 134–135].

Товарищем председателя Галицко-русского общества в Киеве Ю.А. Яворским был сделан доклад с красноречивым названием «Мазепинский кошмар и русская действительность». В своем выступлении автор отметил «необъяснимое равнодушие по отношению к этому движению и беспечность со стороны русского общества и власти» [11. Вып. 4–5. С. 136].

Эту точку зрения отстаивали и другие представители клуба. Так, В.В. Шульгин характеризовал украинское национальное движение как «представляющее, несомненно, государственную измену, мечтающее о том, чтобы продать русские земли австрийской короне за цену “автономии”...». А.И. Савенко утверждал, что «мазепинцы тянут нас под власть Габсбургов, т.е. в польско-немецкое

ярмо, в страшное рабство” [7. С. 298]. Профессор Т.В. Локоть подчеркивал, что следует отличать этнографический национализм от национализма сепаратистского, и если к первому надо относиться терпимо, то ко второму – со всей супротивностью [11. Вып. 4–5. С. 136]. В.В. Шульгин полностью солидаризировался с ним. «Неужели можно верить тому, что люди, предостерегающие против мазепинства, – писал он, – преследуют так называемое “этнографическое украинофильтво”? ...Мы не только не посягаем на малорусский говор, бытовые исторические особенности и прелест украинской поэзии, но мы охраняем ее и лелеем... Нам отвратительно слышать и читать, как профессор Грушевский и компания ломают и портят прекрасное народное наречие... Мы в этом смысле большие украинофилы, чем господа мазепинцы» [7. С. 304].

А.С. Будилович подчеркивал, что желание легализовать украинский язык идет извне, из Австрии, стремящейся присоединить Украину к своей короне: “Только в Галиции и Буковине в последние десятилетия зародилась мысль о втором большом русском языке” [21. С. 16]. Когда на Украине усилились требования допустить образование в начальной школе на украинском языке, которые были поддержаны местными земствами, то ККРН нашел необходимым заявить, что “два параллельных языка это роскошь, а не этнографическая необходимость” [11. Вып. 4–5. С. 143].

Клуб, проведя два специальных общих собрания, посвященных вопросу “украинско-мазепинского движения”, 24 ноября 1911 г. принял резолюцию, в которой, в частности говорилось: “Мазепинское движение, опираясь на неуязвимую для нас галицко-австрийскую базу, растет, распространяется по всей Малороссии и принимает угрожающие размеры”. По мнению авторов резолюции, “мазепинское движение является самым грозным и опасным из всех движений, направленных против единства и целостности Российской империи, так как это движение стремится разрушить самую основу целости и величия России – единство русского народа” [11. Вып. 4–5. С. 262]. Состоявшийся спустя два месяца I Всероссийский съезд ВНС (Петербург, 19–21 февраля 1912 г.) в своей резолюции “о мазепинцах” выразил протест “против попыток левых партий расколоть русский народ и зачислить малороссов и белорусов в число инородцев” [11. Вып. 4–5. С. 83].

В своей пропаганде правые стремились противопоставить украинский народ и украинскую политическую элиту, обвиняя последнюю в том, что она для удовлетворения своих политических амбиций готова отдать собственный народ под гнет иноверцев. Монархисты особенно подчеркивали тот факт, что национальные идеи, проповедуемые украинской интеллигенцией, не находили отклика ни в русифицированных городах Украины, ни в селах, где крестьяне находили для себя своеобразную православно-русскую национально-конфессиональную идентификацию, продолжая при этом считать себя малороссами. А.С. Будилович утверждал, что “центробежные стремления если и проявлялись иной раз у южноруссов, то обыкновенно не в среде народных масс, а в верхах населения... в новейшее время – разных интеллигентов” [21. С. 27]. По мнению А.А. Сидорова, “политическое украинофильтво” в настоящее время “не находит, к счастью, сочувствия в народе” [7. С. 296]. Академик А.И. Соболевский писал: «Данные новейшего “освободительного движения” показывают, что украинофильтво свойственно только левым партиям и что умеренное большинство, и, прежде всего наиболее заинтересованное здесь крестьянство, никакого украинофильтства не знает; оно считает себя за один русский народ с великорусами и стоит за

полное государственное единство России» [3. 1907. № 6–7. С. 51]. Характерно высказывание волынского крестьянина члена Государственной думы (фракция националистов) М.С. Андрейчука: “Всякую украинофильскую пропаганду мы отвергаем... Мы, малороссы, как и великороссы, суть люди русские, а гг. Милюкову, Родичеву и Луцицкому говорим: продолжайте вашу заботу о том племени, служить которому вы призваны, а украинского народа не касайтесь” [7. С. 296].

Монархисты настаивали на том, что украинское национальное движение не имеет шансов на успех, и поэтому “создать” отдельную нацию из малороссов никому не удастся. Член ККРН, профессор Т.В. Локоть утверждал, что украинофильство в настоящее время не грозит отделением Украины от России. “Если это не удалось во времена Мазепы, то теперь это совершенно невозможно. Ассимиляция малороссов с великороссами идет неудержимо и непрерывно” [11. Вып. 4–5. С. 136]. Общий вывод о сути и перспективах украинского движения, сделанный киевскими националистами, был таким: “Украинофильское движение представляет собою явление в такой же степени вредное, как и беспочвенное” [11. Вып. 4–5. С. 220].

Польский вопрос имел гораздо более долгую историю. С екатерининских времен, когда Речь Посполитая была разделена между Австрией, Пруссиией и Россией, на территории Польши постоянно тлело национально-освободительное движение, вспыхивая иногда яркими пожарами восстаний, как, например, в 1830 г. или 1863 г.

С целью подавления польского сепаратизма Александр II даже образовал в 1862 г. так называемый Западный комитет, ведавший русификацией западных губерний [23. С. 35]. Но результаты деятельности этого комитета не оправдвали возлагаемых на него ожиданий. Поэтому князь В.П. Мещерский в письме к цесаревичу, будущему императору Александру III от 6 апреля 1869 г. указывал, что “важнейшим вопросом является вопрос не о борьбе русского элемента с польским, но об уничтожении последнего до корня... Отсюда вывод один: русская администрация в этом крае должна жертвовать законностью для русских интересов, должна зорко и ежеминутно следить за каждым движением поляка и неумолимо, удар за ударом преследовать одну задачу: уничтожение этого элемента не силою штыка, но силою русского ума, русской воли, русской мысли, облеченных в диктаторство” [24. С. 85].

Но добиться желаемого – полной русификации края – так и не удалось. Важную роль в этом сыграл католицизм, который препятствовал ассимиляции польского народа и поддерживал особую польскую национальную идентификацию, отличную от русской. Известный юрист, доктор уголовного права, примыкавший к правым Н.Д. Сергеевский даже утверждал, что насильтвенное обурение поляков вообще невозможно [3. 1907. № 5. С. 128]. Более того, по мнению академика А.И. Соболевского, поляки “оказывают ассимиляционное влияние на русский народ и ополячивают его западные части” [3. 1907. № 6–7. С. 43].

С началом нового XX ст. польское национальное движение существенно усилилось. “Московские ведомости”, отмечая революционность польского национального движения, подчеркивали, что “в учинении нынешней крамолы поляки не отстали от евреев” [9. 11 I 1906]. А в докладной записке на имя В.Н. Коковцова, написанной в конце 1912 г. от имени руководящих органов ведущих черносотенных партий (Совета Русского собрания, Главной Палаты СМА, Петербургского Совета ВНС, Главного Совета СРН), отмечалось: «“Ягеллоновская”

идея – идея польской государственности и ненависть ко всему русскому за последнее время среди поляков нисколько не ослабели» [4. Т. 2. С. 51].

Польское национальное движение представляло серьезную опасность для целостности Российской империи, так как Польша долгое время имела собственную государственность, и поэтому национальное самосознание было свойственно не только образованным высшим слоям, но и глубоко проникло в массы польского народа, что делало лозунг автономии Польши весьма популярным среди населения. Наличие значительных материальных средств, которыми располагали польские магнаты, усугубляло опасность национального движения для самодержавия. В отчете о деятельности Киевского губернского отдела СРН за 1910 г. указывалось: “Польское засилье в крае, основанное на материальной зависимости крестьянского населения от богатых польских помещиков, сильно тормозит развитие патриотической работы” [3. 1912. № 1. С. 219]. А.В.Ф. Джунковский в своих мемуарах отмечал: “В течение 1913 г. я получал донесения от начальников жандармских управлений Юго-Западного края об усилении национального польского движения в этом крае по проведению в жизнь заветной мечты поляков – восстановлению независимой Польши” [22. С. 289]⁵.

“Московские ведомости” утверждали, что требуемая ныне поляками автономия “именно и является возобновлением исторической борьбы Польши с Россией, созданием вражеского стана у рубежей государства”. “Польша всегда служила очагом враждебных России и русскому народу замыслов, чувств и стремлений. Польша всегда стояла поперек пути России”, – писала эта газета [10. 16 XI 1905]. В.М. Пуришкевич считал, что поляки, несомненно, относятся к враждебным народностям России, в отличие от немцев, которые, быть может, и не преданы русскому государству, но зато верны династии [26. С. 15]. Деятельность польской фракции в Государственной думе, придерживавшейся тактики “наступательного” национализма [27. С. 112], лишь убедила правых в непримиримости поляков. По мнению Н.Д. Сергеевского, “вековая борьба России и Польши готова возобновиться. Россия должна победить Польшу или сама погибнуть” [3. 1907. № 5. С. 121]. М.О. Меньшиков писал: “Поляки 900 лет *расстраивали и разрушали* это государство, сколько было в их силах” [7. С. 230].

Правда, революционные события 1905–1907 гг. и сопутствующие им аграрные волнения привели к определенной солидаризации русских и польских помещиков, которых на некоторое время объединили классовые интересы. Накануне выборов во II Думу А.И. Савенко писал: “Среди поляков есть партия, которая отказалась от польских вожделений в крае и стремится к мирному культурному сожитию с русскими. С такой партией не только можно, но и должно стремиться вступить в блок при том, однако, условии, если” она “вполне определенно откажется от солидарности с польскими шовинистами” [7. С. 283]. Но в период “столыпинского успокоения” национальные и экономические интересы, в первую очередь борьба за землю, вновь развели польских и русских

⁵ Религиозный философ В.С. Соловьев указал причину, по которой польское движение является столь радикальным и непримиримым. “Являясь передовыми борцами западного начала, – писал он, – поляки видят в России враждебный их духовному существу Восток, силу чуждую и темную, и притом имеющую притязания на будущность, и потому несравненно более опасную, чем, например, турки и мусульманский Восток... Вражда Польши к России является... лишь выражением вековечного спора Запада и Востока, и польский вопрос есть лишь фазис великого восточного вопроса” [25. С. 71].

помещиков по разные стороны баррикады. Уже в 1909 г. А.И. Савенко изменил позицию: “Поляки везде открыто и решительно говорят, что Литва и Русь (имеется в виду Украина – И.О.) – польский край. Они ведут с нами наступательную борьбу, и ни на какие уступки не идут и не пойдут”, – утверждал он [7. С. 281]. В начале 1912 г. на I съезде ВНС некоторые представители центральных губерний высказывались за возможность частичных блоков с поляками, но съезд не согласился с ними и, по предложению представителей Юго-Западного края, принял резолюцию, в которой указывал на недопустимость даже частичных соглашений [11. Вып. 4–5. С. 82].

Черносотенцы настаивали на том, что включение Польши в состав Российской империи имело только позитивные последствия для польского народа. М.М. Бородкин подчеркивал, что в Польше только «благодаря России “хлоп” стал человеком, а не “быдлом”». “Развитие польского народа происходило только в русской земле”, – писал он [3. 1903. № 5. С. 134]. “Московские ведомости” утверждали, что «смерть Польши действительно не была несчастьем для польского народа, который к обоим мятежам отнесся равнодушно и теперь не помышляет ни о каких автономиях; в России, наделившей его землей и давшей ему свободу и права человеческие, он себя чувствует, конечно, не в пример лучше, чем в былой Польше, в которой влачил жалкое существование обездоленного и бесправного панского “быдла”» [10. 22 XI 1905].

Но, по мнению многих монархистов, будучи благодетельным для поляков, присоединение Польши имело самые негативные последствия для России. Так, Д.И. Иловайский утверждал, что “присоединение Царства Польского не только не вызывалось никакими русскими интересами, но шло положительно с ними вразрез. Оно... почти всю тяжесть Польского вопроса взвалило теперь на русскую шею” [6. 19 X 1906]. Главным негативным последствием присоединения Польши правые считали ополячивание населения Украины, Белоруссии и Литвы и усиление “польского элемента в общественной и государственной жизни”. В докладе, прочитанном 6 ноября 1909 г. одним из лидеров киевских монархистов генералом П.Е. Жуковым, говорилось: “25 лет назад в Киевской городской думе не было ни одного поляка. С 1887 по 1906 – не более четырех. В настоящее время – 13” [11. Вып. 2. С. 25]. В упоминавшейся выше записке руководителей правых партий на имя В.Н. Коковцова говорилось: “Сначала окатоличенье, а потом и ополяченье белорусского крестьянина продолжается на глазах у власти путем костела и экономической зависимости от польских помещиков”. По мнению авторов записи, “самоуправления городские на всем северо-западе, и частью даже и на юго-западе находятся почти исключительно в польских руках”, хотя Западный край “ни по историческому прошлому, ни по этнографическому составу населения (поляков не свыше 10% населения) никоим образом польским считаться не может” [4. Т. 2. С. 52–53]. В.М. Пуришкевич акцентировал внимание на “подрывной” деятельности поляков в России. По его мнению «поляки вносят раздор в среду русских, возбуждая, белорусский и в особенности, украинский сепаратизм (“бендзе Польска до Тобольска”). Они поддерживают мазепинство и при помощи евреев мечтают провести в Государственную думу проф. Грушевского, известного врага России, желающего добиться “самостийной Украины”» [1. Ф. 117. Оп. 1. Д. 648. Л. 16.].

П.И. Ковалевский считал, что “поляки, как и все инородцы в России, тогда только могут рассчитывать на равноправие в России, когда они на деле докажут, что они, прежде всего русские, а потом поляки”. При этом его особенно

тревожило усиление позиций польской интеллигенции в коренных русских областях, и поэтому он предлагал “попросить господ поляков врачей, адвокатов и др. свободных профессий отправиться в свою Польшу и там практиковать” [7. С. 285, 291]. Черносотенцы не оставили без внимания и попытки ввести польский язык в качестве основного в учебных заведениях на территории Царства Польского. В.М. Пуришкевич заявил, что такой порядок вещей повел бы лишь к усилению антигосударственной польской пропаганды [26. С. 15].

Но все усилия правых подавить польский “сепаратизм” не приносили результатов. Поэтому националисты даже рассматривали вопрос о передаче Польши Австрии в обмен на Галицию [7. С. 293]. С.Ф. Шарапов наилучшим решением польского вопроса считал изоляцию Польши от России [18. С. 19]. Д.И. Иловайский также призывал “отделить от России неестественно присоединенный к нам польско-еврейский Привислянский край, удержав за собою русскую Холмщину”. По его мнению “русскому народу даже выгоднее было бы претерпеть отпадение некоторых окраин, чтобы не истощать себя без конца их охранением и вносимою ими в наши внутренние дела смутою” [6. 19 X 1906].

Начало XX ст. по всему миру сопровождалось лавинообразным нарастанием процессов национальной самоидентификации и вступлением многих этнических общностей в высшую стадию своего развития, сопровождавшуюся появлением национального самосознания. Многонациональное Российское государство в этом плане не было исключением. Правые понимали, что вслед за национальной самоидентификацией населяющих империю народов неминуемо последует процесс национального самоопределения, чреватый расчленением России и созданием новых независимых государств. Превратить Россию в государство-нацицию было невозможно, не уничтожив империю, чего правые вовсе не хотели. Поэтому, сохранив имперский характер русского государства, черносотенцы стремились сохранить и имперский характер национальных отношений в нем, то есть господство титульной нации и “благодарное” подчинение ей других народов, которым принадлежность к империи должна давать “неисчислимые блага”, а именно: безопасность, экономическое процветание, доступ к культурным ценностям и т.п. При этом, естественно, для представителей нетитульных наций должна сохраняться возможность свободного вхождения в состав государствающего этноса. В России оно существенно облегчалось тем, что функции титульной нации (русские) выполняла титульная конфессия (православные), так как изменить вероисповедание гораздо проще, чем национальность. Последний фактор во многом объяснял ту относительную стабильность в межнациональных отношениях в России в предыдущий период.

Цели правых в национальном вопросе были противоречивы: с одной стороны, всемерная поддержка культурного и экономического развития “инородцев” (чтобы заслужить их благодарность), а с другой – стремление затормозить их политическое развитие, утвердив господство “русской народности на всем пространстве империи”, и тем самым блокировать процесс национального самоопределения иных этнических общностей для сохранения “единой и неделимой” России. В особенности это касалось народов, вышедших в своем развитии на этап формирования нации и имевших традиции государственности, в частности польского. Кроме того, высокий уровень культурного и экономического развития Польши создавал угрозу ассимиляции поляками русского (православного) населения региона. Поэтому С.Ф. Шарапов и Д.И. Иловайский, считавшие, что “враждебные окраины” отвлекают слишком много государственных средств и

мешают развитию коренной России, допускали “отпадение” Привислянского края от империи. По их мнению, все усилия государства необходимо сосредоточить на развитии великорусских областей, своеобразного “острова России” (по аналогии с французским Иль-де-Франсом), ядра, вокруг которого должна возродиться великая империя

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Государственный архив Российской Федерации.
2. Центральный государственный архив Украины.
3. Мирный труд.
4. Правые партии. Документы и материалы. М., 1998. Т. 1. 1905–1910 гг. Т. 2. 1911–1917 гг.
5. Гросул В.Я., Итенберг Г.С., Твардовская В.А., Шацилло К.Ф., Эймонтова Р.Г. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и практика. М., 2000.
6. Кремль.
7. Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия: Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М., 2001.
8. Полный сборник платформ всех русских политических партий, с приложением манифеста 17 октября и доклада Витте. СПб., 1906.
9. Тихомиров Л.А. Монархическая государственность. М., 1998.
10. Московские ведомости.
11. Сборник клуба русских националистов. Киев, 1910. Вып. 2; Киев, 1913. Вып. 4–5.
12. Тихомиров Л.А. Христианство и политика. М., 1999.
13. Кирьянов Ю.И. Правые партии в России 1911–1917 гг. М., 2001.
14. Михайлова Е.М. Правые партии и организации в Поволжье: идеологические концепции и организационное устройство (1905–1917). М., 2002.
15. Майков А./А. Революционеры и черносотенцы. СПб., 1907.
16. Постановления Всероссийского съезда СРН и примыкающих к нему организаций. 21 ноября – 1 декабря 1911 г. в г. Москве. СПб., 1912.
17. Третий всероссийский съезд Русских Людей в Киеве: Протоколы. Киев, 1906.
18. Шарапов С. Опыт Русской политической программы. М., 1905.
19. Тверское Поволжье. 5 VIII 1907.
20. Полонська-Василенко Н. Історія України. Київ, 1995. Т. 2. Від середини XVII століття до 1923 року.
21. Будилович А. О единстве Русского народа. СПб. 1907.
22. Джунковский В.Ф. Воспоминания. М., 1997. Т. 2.
23. Римский С.В. Конфессиональная политика России в Западном крае и Прибалтике XIX столетия // Вопросы истории. 1998. № 3.
24. Дронов И.Е. Кружок князя В.П. Мещерского 1865–1871 гг. // Вестник Московского университета. Сер 8. История. 2001. № 3.
25. Соловьев В.С. Сочинения в двух томах. М., 1989. Т. 1.
26. Донесения Л.К. Куманина из министерского павильона Государственной Думы, декабрь 1911 – февраль 1917 гг. // Вопросы истории. 1999. № 3.
27. Павельева Т.Ю. Польская фракция в Государственной думе России 1906–1914 годов // Вопросы истории. 2000. № 3.



© 2006 г. А. И. МИЛЛЕР, О. А. ОСТАПЧУК

ЛАТИНИЦА И КИРИЛИЦА В УКРАИНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ДИСКУРСЕ И ЯЗЫКОВОЙ ПОЛИТИКЕ РОССИЙСКОЙ И ГАБСБУРГСКОЙ ИМПЕРИЙ

Язык является одним из наиболее важных элементов в символике этничности. Трансформация этнического самосознания в национальное сопровождается переосмыслением связи между языком и этносом, ее идеологизацией [1. С. 339]. Борьба вокруг консолидации и эманципации украинского языка дает в этом смысле особенно богатый материал для исследователей. Под консолидацией мы понимаем здесь не только сугубо филологические аспекты выработки единой литературной нормы, но и процесс установления политического консенсуса по вопросу языкового единства.

В XIX в. мы видим две “сцены”, на которых разворачиваются интенсивные споры и политическая борьба по этому вопросу – это подчиненная Габсбургам Галиция и подчиненные Романовым днепровская Украина (Малороссия) и Слобожанщина. Споры и борьба шли среди элит, которые идентифицировали себя как “русинские”¹, “малорусские” и/или украинские, принадлежали разным конфессиям и были выходцами из разных социальных групп. Но эта борьба вовлекает и “внешних”, “вненациональных” акторов, которые занимали доминирующее или господствующее положение по отношению к местным сообществам на окраинах империй, т.е. традиционные польские шляхетские элиты и имперские власти, а также церковные центры, прежде всего Ватикан. Это, в частности, означает, что адекватное рассмотрение данных сюжетов невозможно в рамках узко понятого национального нарратива, сосредоточенного преимущественно на “национальных” акторах.

Следует особо подчеркнуть, что события на двух сценах по обе стороны имперской границы были тесно взаимосвязаны. Иначе говоря, мы имеем дело с ярко выраженной спецификой оспариваемого пограничья, с характерным для таких ситуаций разнообразием проектов идентификации и стратегий лояльности, формирующихся в результате взаимодействия – как борьбы, так и сотрудничества – локальных и имперских акторов. В любой период и в любой ситуа-

Миллер Алексей Ильич – д-р ист. наук, ведущий научный сотрудник ИНИОН.

Остапчук Оксана Александровна – канд. филол. наук, старший преподаватель МГУ.

¹ Здесь и далее термин “русин”, “русинский” и под. употребляются в соответствии с общепринятой в XIX в. практикой и относятся ко всему украинскому населению западных регионов; не смешивать с современным этнонимом “русин”.

ции, будь то в Галиции или в “большой” Украине, число взаимодействующих акторов было больше двух, и, по крайней мере, начиная с середины XIX в., в них, как правило, участвуют акторы из обеих империй: Российской и Габсбургской².

Алфавит и, прежде всего, вопрос выбора между латиницей и кириллицей, был одним из важных элементов этой борьбы, наряду с вопросами орфографии, статуса языка и его применения (или запрета) в разных сферах жизни³. Алфавит (а иногда и шрифт, как это было с церковной кириллицей и “гражданкой” в Галиции) представляет собой многозначный символ, который несет важную этнокультурную и этнорелигиозную нагрузку. Он нередко играл и играет ключевую роль в процессах формирования идентичностей, особенно на пространстве этнокультурного пограничья. В истории украинского литературного языка проблема алфавита никогда не воспринималась только и исключительно в технических категориях удобства и адекватности (заметим, что с сугубо филологической точки зрения латиница не менее, а иногда и более адекватно, чем кирилица, отражала особенности украинской живой речи на письме⁴). Борьба различных акторов вокруг алфавита в XIX и начале XX в. и является предметом этой статьи.

Пограничное положение украинских земель на стыке двух цивилизационных и культурно-языковых ареалов – *Slavia Latina* и *Slavia Orthodoxa* определило принципиально “открытый” характер украинской культуры в целом, который складывался в течение XVII–XVIII вв. в результате наложения социокультурных и собственно языковых границ. Одним из проявлений такой открытости является сосуществование – и конкуренция – в одном культурном пространстве разных религиозно-культурных дискурсов⁵, и как следствие – алфавитов и языков.

С одной стороны, границы культурной и коммуникативной компетенции языков в староукраинской книжной традиции являлись подвижными: часто даже внутри одного и того же памятника обнаруживаются фрагменты, написанные на разных языках (за исключением текстов, где выбор языка нес функциональную и стилистическую нагрузку, как в интермедиях или в полемической литературе). С другой стороны, в изданиях XVI в. язык еще довольно прочно связан с графическим кодом. Важнейшая функция алфавита в этот период – быть маркером границы. Смена языка обязательно предполагает смену алфавита, и – что естественно – смену уровня и типа дискурса. Начиная с XVII в. в униатской традиции становится возможным взаимопроникновение графических систем, причем латиницей нередко записываются не только “русские” тексты, но и церковнославянские. Подобная практика, как и многоязычие в целом, сохраняется, по крайней мере, до конца XVIII в.⁶. Параллельное употребление

² Более подробно о том, что процессы формирования идентичностей и лояльностей в соседних континентальных империях следует анализировать не в рамках отдельных империй, но в рамках своеобразной макросистемы континентальных империй, см. [2. Гл. 1; 3]. Рассматриваемый в данной статье сюжет может служить образцовой иллюстрацией этого тезиса.

³ Авторы статьи, один с точки зрения историка (А. Миллер), а другой – филолога (О. Остапчук), не раз обращались к изучению названных сюжетов: [4; 5. С. 142–155; 6. С. 257–269].

⁴ См., например, лингвистический анализ памятников XVII–XVIII в. [7].

⁵ Об этом см. [8. С. 101–113], о языковом аспекте см. [9. Р. 9–20].

⁶ См. подробнее [10. S. 232]; переводу униатских литургических текстов на латиницу как части культурной полонизации в более ранний период посвящен доклад Анны Болек на VI международном конгрессе украинистов (Донецк, 28.06–01.07.2005) “Polska grafika w XVII-wiecznych unickich teksthach liturgicznych (na przykładzie Ephonemat P. Ohilewicza)”.

двух алфавитов для украинского текста широко практикуют типографии на Правобережной Украине, прежде всего униатские, в том числе типография Понаевского монастыря⁷. В целом весь период вплоть до XIX в. характеризуется довольно широким использованием латинского алфавита для письменной фиксации украинского языка в разных частях этнической территории (преимущественно на границах с ареалами распространения латинской графики). Причем часто “латинизация” письма не рассматривается в идеологических категориях: так, прежде всего практические цели преследует приспособление венгерской графики для передачи текстов хозяйственного содержания на закарпатских территориях⁸.

Идеологизация проблемы алфавита происходит постепенно. Алфавиты не воспринимаются как различные формы этнокультурного выражения вплоть до середины XIX в. Так, распространявшееся в 1830 г. на Правобережье воззвание польских повстанцев “Do Więcian” (*Panowie gromada chrześcianie w poddaństwie...*), адресованное крестьянам, сохранилось в 3 вариантах: по-польски (вероятно, это был исходный вариант), по-украински латиницей (*Panowe hromada chrestyane w podaństwi...*), и, наконец, записанное кириллицей (*Панове громада крестияне въ подданьстве...*)⁹. Несмотря на поражение восстания, и после 1831 г. латиница остается преимущественной формой передачи украинской речи на Правобережной Украине, касается ли это записи фольклорных текстов или создания оригинальных произведений на украинском языке. Для авторов – выходцев из местной шляхты, для которых польский язык был основным (родным), использование латиницы для передачи украинской речи являлось одним из средств включения правобережных земель в общепольское культурно-языковое пространство. Один из ярких примеров – литературное творчество Тымка Падуры, который на базе польской латиницы создал даже собственную систему орфографии, максимально приближенную к украинской фонетике¹⁰. Записи украинских фольклорных текстов латиницей публикуются также на украинских землях в Австро-Венгрии, выполняя (сознательно или неосознанно) все ту же функцию маркирования “своего” цивилизационного пространства. Один из самых известных примеров – фольклорный сборник В. Залеского (будущего губернатора Галиции) [15].

В соседней Белоруссии в 1835 г. в типографии виленской римско-католической епархии неизвестный автор печатает латиницей по-белорусски катехизис, снабдив его польским названием “Krótkie zebranie nauki Chrześcijańskiej dla wieśniaków mówiących językiem polsko-ruskim wyznania Rzymsko-katolickiego” (“Краткое собрание христианской науки для сельчан римско-католического исповедания, говорящих на польско-русском языке”. Wilno, 1835). Обратим внимание на формулу “польско-русский язык”, аналогом которой в дискурсе русского национализма позднее станет концепция “малорусского наречия русского язы-

⁷ См., например, фрагмент из хозяйственного справочника И. Ленкевича с параллельным текстом на кириллице и латинице [11. С. 394].

⁸ См. тексты конца XVIII в. на местном наречии, записанные латиницей в [12]. Там же таблица соответствий знаков в кириллице, “тражданке” и латинице (напр., ж = ź; с = dz; і, ї = і; ѿ = ѿ = u, ꙗ = ѕ = ji, і, є).

⁹ Текст из собрания “Do Mieszkańców Gubernii Nowo Rossyjskich” [13. С. 103–214]. Материалы предоставлены д-ром Артуром Чесаком.

¹⁰ В частности, он ввел особый знак для обозначения звука средней артикуляции между е и и “дабы показать разницу в произношении” (здесь и далее перевод наш. – О.О.): [14. С. 125–126.]

ка". Несколько позже, с 1838 по 1846 г., издает свои сборники белорусских народных песен бывший филомат и близкий друг Адама Мицкевича Ян Чачот. В них, среди прочего, обнаруживаются белорусские песни, записанные латиницей (подробнее см. [16]).

Конфронтация между сторонниками латиницы и кириллицы в Галиции возникает в середине 1830-х годов в связи с предложением ввести латиницу для передачи народной речи, сформулированным униатским священнослужителем и общественным деятелем Иосифом Лозинским (1807–1889). В качестве реализации проекта он издал первое в Галиции этнографическое описание украинского свадебного обряда, куда были включены народные песни, записанные польской в своей основе латиницей¹¹. Мотивирует он это исключительно практическими соображениями: "Руський язык, не бувши ще письменним, має свободу вибрати собі таку азбуку, яка була би найздібніша до відання його звуків і найкорисніша для його розвою. Таким уважаю абецадло польське" (цит. по [18. С. 210], полностью статью см. [19. Т. 114. Кн. 2. С. 81–116; Т. 115. Кн. 3. С. 131–153; Т. 116. Кн. 4. С. 87–125]). Однако в ходе полемики, вызванной этими публикациями, Иосифом Левицким и Маркияном Шашкевичем отчетливо формулируется тезис о кириллице как национальной святыне и религиозном символе: "Найбільшою обманою, ба неспрощеним гріхом в сем ділі є, що писатель відвергши Азбуку питому руську, приняў букви ляцькії, котрі ціло не пристают к нашему язикови. Чи годит-ся безчестити святиню?.. Азбука святого Кирила була нам небесною, незборимою твердею перед довершеним знидѣньом, була найкріплісчим стóупом, несколибімою скалою, на котрій Русь святая через тілько столітей люто печалена, крепко стояла" (цит. по [20. С. 64–68], опубликовано впервые в [21], ср. также: [22; 23]).

Еще большее обостряется конкуренция языков и алфавитов в ходе политической борьбы в Галиции в 1848 г. Именно в это время противопоставление латиницы и кириллицы в культурном дискурсе в Галиции приобретает формы сознательной конфронтации национальных атрибутов – соответственно польского и украинского. По-украински латиницей издаются тексты открыто идеологического содержания (возвзвания, прокламации, пропагандистские стихи), которые, как и печатаемые латиницей периодические издания (например издаваемый Иваном Вагилевичем "Dnewnyk ruskij", орган полонофильского Русского Собора), призваны участвовать в обосновании пропольской политической и культурно-цивилизационной ориентации¹². Весьма показательна в этом отношении цитата из произведения Д. Коциндыка (псевдоним Rusyn z Drohobycz) под названием "Rusyn do Rusyniw" (Lwów, 1848): "Rusyn, Polak to dwa tiſia / Szczo jedneho serdcia syſia / Ożywaje z rodu,/ A chto nam inaksze mowyty/ Toj nasz woroh, toj nas zwodyt,/ Na naszoju szkodу!" [25. Д. 18. Л. 45–46].

Сравнение текстов пропагандистских стихотворений и политических воззрений на кириллице и латинице, обращенных к жителям Галиции, показывает,

¹¹ Речь идет о текстах "O wprowadzeniu abecadla polskiego do piśmiennictwa ruskiego" (Rozmaitości. № 29) и "Ruskoje wesile opysanoje czerez J. Łozińskiego" (Przemysł, 1835), где призыв "брать язык из уст простого народа" сочетается с принципом "писати так, як загально вимовляється" (см. [17]). Он известен так же как автор одной из первых грамматик украинского языка "Gramatyka języka ruskiego (małoruskiego)" (1846). Позже Лозинский отходит от идей латинизации украинского письма, о чем свидетельствуют его более поздняя статья "О образованю языка руского" (1850) и деятельность в составе комиссии по разбору проекта Иречека.

¹² Лингвистический анализ украинских текстов полонофилов см. [24. С. 311–358].

что противопоставление охватывает не только и не столько алфавит, но выражается скорее в оппозиции разных моделей языка и типов литературного стандарта, связанных с различными политическими и формирующими национальными дискурсами¹³. В то время как латиница фиксирует преимущественно народную речь, максимально приближенную к живой разговорной (т.е. “наречие”, диалект), кириллица сигнализирует о введении текста гораздо более традиционного по форме, с большим числом церковнославянизмов, где алфавит и все прочие языковые средства направлены на манифестацию связи с культурно-церковной традицией. П. Магочи предлагает в этой связи разделить участников языковой дискуссии в Галиции на “традиционистов”, сохраняющих “славено-русский язык”, записанный этимологическим письмом, и “модернистов”, допускающих использование народного языка как литературного и ратующих за фонетическое правописание [26. С. 220–238]. Стремление к литературной эманципации народного языка, отмечаемое в обоих случаях, исходит из принципиально разных позиций. В первом – живой язык используется как средство обращения к социальным низам. Лишь в будущем он должен достичь уровня литературной обработки. Показательно мнение одного из самых заметных галицийских полонофилов Каспера Ченглевича: “Я не утверждаю, что русский язык не подлежит обработке... Но никто не сможет возразить, что в польском языке уже есть необходимые средства, чтобы стать соответствующим орудием образования. В червоно-русском языке таких средств нет. В нем есть только народные песни как литература и песни Падуры”¹⁴. Во втором случае апеллирование к традиции как таковое является “пропуском” в литературу для народного языка. “Азбучная война” в Галиции к середине XIX в. решается в пользу кириллицы [28. С. 26], которая, таким образом, становится основным графическим способом оформления украинской речи на письме в данном регионе. Позиция Вены в этом вопросе во многом объяснялась тогда восприятием галицких “русинов” как союзников в борьбе с польским движением. Центр орфографической дискуссии на время смещается к проблеме шрифта (“церковная” кириллица или “гражданка”) и к выбору принципа правописания: этимологического или фонетического.

Однако алфавит снова становится предметом ожесточенной борьбы в Галиции в конце 1850-х годов. В мае 1858 г. по указанию наместника Галиции гр. А. Голуховского была создана специальная комиссия по переводу галицийских русинов с кириллицы на латиницу. Предпринимается попытка законодательно ввести латиницу в тех школах Галиции, где преподавался “русский” язык. С 1848 г. “руська мова” утверждается в школах Галиции для “руських” громад: ответ Головной Русской Раде от 9 мая 1848 г. за подписью министра Пиллерсдорфа “An die ruthenische Verzammlung in Lemberg” (о документе вспоминает И. Франко в ст. “Азбучна війна в Галичині”). Латиница для печатания законов и

¹³ См., например, украиноязычные воззвания, записанные латиницей из [25. Д. 15]. Там же обнаруживаем текст принципиально иной по своей стилистике и языковой форме: “До всѣхъ громадъ Архідѣцезальныхъ. Одозва”. Кириллицей отпечатана была и “Одозва до руского народу” в первом номере газеты “Зоря Галицка” (1 мая 1848 г.), органе Головной Рады Русской.

¹⁴ “Nie twierdzę, że ruszczyzna nie jest zdolna do wykształcenia... Ale że język polski ma już przyjemności potrzebne, aby był narzędziem oświaty dogodnym, nikt nie przeczy. Czerwono-ruszczyzna nie ma tych przymiotów, dopiero więc musi być obrabiana. Ma ona tylko pieśni gminne, jako zasób piśmennictwa i piosenki Padury” [27].

официальных объявлений “по-русъки” была официально закреплена решением Министерства внутренних дел Австрийской империи [29. С. 47].

С благословения австрийских властей чехом Йозефом Иречеком, занимавшим важный пост в австрийском министерстве просвещения, был подготовлен проект латиницы для передачи украинской речи на письме¹⁵. Брошюра с изложением проекта Иречека была напечатана в начале 1859 г. как официальная, но фактически закрытая публикация, и в продажу не поступила. В своем проекте он сознательно сочетает принципы фонетической и этимологической орографии и не случайно останавливает свой выбор на чешском – не польском! – образце для украинской латиницы, предвидя возможную негативную реакцию местных элит. Впрочем, такая реакция все равно была неизбежна.

В момент появления проект Иречека вызвал прежде всего подозрения в “чешской” интриге. Их формулирует М. Малиновский в письме к Г. Шашкевичу: “Між слов’янами поляки, росіяни та чехи воюють за перевагу, за принципат. Чехи хотять нам своє панування накинути, а ми, як не хочемо мати нічого спільногого з поляками й росіянами, то й не хочемо чеського принципату” (цит. по [32. С. 146]; ср. также [33. С. 33]). Однако связь латиницы с польской письменной традицией оказалась в языковом сознании гораздо более прочной, став своеобразным стереотипом, не случайно ее часто называли “абецадлом” (ср. польское *abecadło*). Таким образом, усилия Иречека по созданию латинского письма, очищенного от национальных коннотаций, оказались тщетными. Ненасыщенным остались и практические достоинства новой системы орографии, хотя с сугубо филологической точки зрения проект был хорошо продуман, последовательно реализовывал принципы фонетической орографии, использовал уже имеющийся опыт реформирования славянских азбук и был, по сути, довольно удачной попыткой синтеза разных латинских график¹⁶.

Иречек вовсе не скрывал идеологической мотивации проекта. Член партии чешских консерваторов и сторонник австрославизма, он был озабочен не только тем, что кириллической шрифт (читай церковный) не может быть приспособлен к потребностям живого языка. Его беспокоило, что до тех пор, пока галицкие “русины” будут писать и печатать кириллицей, у них будет проявляться уклон к церковнословянщине, а значит и к “русскости” (подробнее см. [32. С. 143]). Здесь его мнение полностью совпадает с мнением австрийских властей, которые, в условиях кризиса в отношениях с Петербургом после Крымской войны, были озабочены распространением в Галиции “москофильских” настроений. Именно эта озабоченность, по-видимому, и стала основной причиной создания комиссии. В этой точке пересекались интересы Вены и местных поляков, которые стремились противодействовать развитию конкурирующих с польским больших и малых национальных проектов.

¹⁵ Опубликовано отдельным изданием [30]. О проекте Й. Иречека и общем его контексте см. [31. С. 5].

¹⁶ “Идейным” вдохновителем Иречека в практической части проекта можно считать Фр. Миклошича. Как система чешская латиница была впервые использована им в “Vergleichende Lautlehre der slavischen Sprachen” (Wien, 1852) для передачи на письме украинских примеров. Правда, во втором издании своего труда Миклошич (1874) высказался за использование для украинской речи реформированной по сербскому образцу кириллицы. Не исключено, что на такую смену взглядов могли повлиять результаты обсуждения проекта Иречека. Подробнее об этом сюжете см. [32. С. 140–147].

Специально созданная комиссия после обсуждения отклонила проект Иречека. В составе комиссии оказались представители различных галицких идеиных течений: С. Литвинович, М. Куземский, Г. Шашкевич, К. Моша, Е. Зелиг (помянутее см. [34. С. 12]). Но все они были едины в отрицании самой возможности латинизации украинского письма. Единой была и мотивировка: “пропадет и дух украинского народа, и вера” [32. С. 145]. С этим согласились даже те члены комиссии, которые (как епископ С. Литвинович) не отрицали практической пригодности латиницы для передачи украинской речи. Весьма показательна в этом отношении эволюция взглядов И. Лозинского. В середине 1830-х годов он, будучи в тот момент крайним “модернистом”, спровоцировал первый раунд “азбучной войны” своими публикациями на латинице, но к 1850-м годам отказался от возможности применения латиницы к украинскому письму и – более того – от идеи литературной эманципации народного языка, перейдя в лагерь традиционалистов-“москофилов”. Подобная эволюция взглядов по мере кристаллизации национального проекта в Галиции – не редкость для этого периода, достаточно вспомнить пример деятелей “Руської трійці”: Ивана Вагилевича, Маркияна Шашкевича и Якова Головацкого. Инициаторы первого издания на “местном (народном, диалектном) языке” (1837) и пропагандисты культурного “украинизма” в дальнейшем избрали различные политические (читай национальные) идентификации: Головацкий стал видным деятелем традиционалистов-“москофилов”, Вагилевич избрал пропольскую ориентацию, лишь Шашкевич остался в лагере модернистов-“народовцев” (помянутее об этом см. [35. Р. 111–125]).

Хотя брошюра Иречека и не поступила в продажу, тем не менее она довольно скоро стала фактом публичного обсуждения. Реакция общественного мнения Галиции на проект Иречека была резкой. Как писал И. Гушалевич Я. Головацкому, “всіхъ серце запеклося кровью” [18. С. 226]. Суть претензий к Иречеку в наиболее развернутом виде сформулировал один из лидеров “традиционистов”, Богдан Дедицкий, который, в свое время, и учил его украинскому языку. Произведя основательный разбор достоинств и недостатков обеих азбук, он объявляет кириллицу “единым приступом к святыне высоких правд божиих” [36. С. 20]. Дедицкий формулирует основные доводы противников латинизации. Во-первых, это опасность “азбучной войны” для единства галицкого “русинского” движения: “общое замещательство и безконечная свара за азбуку”. Во-вторых, разрыв местных письменных традиций: “роспадение нашей словесности”. В этой связи Дедицкий упоминает только западноукраинскую традицию в Буковине, Галиции и Закарпатье и не апеллирует к идее единства с традицией Малороссии и Правобережной Украины¹⁷, что, возможно, было следствием самоцензуры в условиях, когда позиция Вены в “украинском вопросе” еще не была для него вполне ясной. В-третьих, это разрыв с культурно-религиозной традицией: “насильный разрыв межи рускою словесностю нынешних времен а рускою словесностю віків прошедшихъ”. Наконец, он делает главный вывод, совпавший, по сути, с выводом комиссии, разбирающей проект Иречека: “Латинская азбука производить тут не только велике замішательство, но оразъ несогласie и роздвоеніе въ одноплеменної братії... Розрывъ духової жизни цілого народа, –

¹⁷ В современной украинской лингвистической традиции латиница рассматривается именно в качестве одного из препятствий для создания единой литературной нормы и унификации письменных традиций, см. [34. С. 20].

то наиболестнійшое горе, яке коли существовало въ світі!.. Мы того не піймаємся, бо у нас так не бывыло!” [36. С. 37–40].

Итак, основной причиной поражения сторонников перевода украинской графики на латиницу в Галиции следует считать идеологизацию проблемы алфавита как инструмента влияния в национальном дискурсе. Это, впрочем, не означало, что практические попытки использования латиницы исчезают вовсе. Так, в 1861 г. предложения по продвижению чешской латиницы (с использованием отдельных польских букв) на Буковине сформулировали Антон Кобылянский и Кость Горбаль в своей работе «*Slovo na slovo dla redaktora “Slova”*». Полемический ответ появился незамедлительно – им стала пародийная брошюра, напечатанная чешской латиницей в приложении к газете – “Слово” “*Holos na holos dla Haličiny*” (об этом см. [37. С. 173; 32. С. 140]). И позже в лагере галицийских “польнофилов” публикуются украинские стихи, записанные польской латиницей, один из примеров – стихи Януария Позняка [38] (кириллический текст см [39. С. 84–85]). Латиница также неизменно использовалась в 1860–1870-е годы в официальных стенограммах галицийского Сейма для передачи выступлений “русинских” депутатов.

Таким образом, мы видим, что к концу 1850-х годов проблема алфавита для языка галицийских “русин” перестала быть предметом внутргалицийских споров. В результате подключения к ней Вены она превратилась в предмет имперской политики. Это не прошло незамеченным в России, власти которой к тому времени еще не имели большого опыта в регулировании языковой сферы.

Империя Романовых до восстания 1830–1931 гг. на всех западных окраинах стремилась опираться на местные элиты и непрямые формы правления. Ее вмешательство в языковую ситуацию здесь было минимальным, а позиции польского языка в западных губерниях после разделов нисколько не ослабли. Даже когда в начале XIX в. власти в целях контроля потребовали от евреев перевести часть деловой документации с идиш на более доступный чиновникам язык, они оставляли за евреями выбор между русским, польским и немецким. Иначе говоря, язык заботил их как медиум, а не как инструмент формирования идентичности. Лишь после восстания 1830–1831 гг. власти существенно сократили сферу использования польского языка в Западном крае, перестав рассматривать польскую шляхту как лояльную региональную элиту. В период между восстаниями Николай I даже обсуждал со своими сановниками возможность полного перевода польского языка на кириллицу¹⁸.

Хотя призрак малорусского сепаратизма тревожил Петербург, особенно после раскрытия Кирилло-Мефодиевского братства в 1847 г., в процессы развития украинского языка власти империи вплоть до конца 1850-х годов также практически не вмешивались.

Как известно, центром формирования нового украинского литературно-языкового канона в первой половине XIX в. является Левобережье, где пишутся и/или издаются все важнейшие тексты, положившие начало кодификации народного языка, начиная с “Энеиды” И. Котляревского (1798). Публикация на-

¹⁸ См. об этом [40]. После восстания 1863 г. Николай Милютин, уже не рассчитывавший на примирение с польской шляхтой, надеялся воспитать в духе лояльности польского крестьянина, и Б.А. Успенский отмечает, что предпринятые тогда гражданской администрацией Царства Польского попытки ввести русские буквы в польскую письменность (без полного запрета латиницы) были призваны воздействовать прежде всего на крестьянство [40. С. 141].

родного фольклора и оригинальных текстов на “малороссийском наречии” сразу вызвала к жизни проблему передачи специфики украинской речи на письме. Довольно скоро формируется и противопоставление позиций сторонников письма, максимально приближенного к реальному украинскому произношению, и тех, кто настаивал на употреблении русской в своей основе орфографии, приспособленной к передаче украинской речи, но отражающей общность в развитии обоих языков. Суть споров не сводилась, разумеется, к чисто техническим проблемам, а отражала (как и “азбучная война” в Галиции) поиск образца для письменного стандарта. Орфографическая дискуссия сохраняет свою значимость в течение всего XIX в.: в общей сложности было сформулировано около 50 орфографических проектов [41].

На Левобережной Украине принцип фонетического правописания декларирует уже автор первой малороссийской грамматики Ал. Павловский: “Я намерен все слова малороссийские писать точно теми буквами, какими они там произносятся (в т. числе *i* на месте *o*, *xv* на месте *ф*, *ця* вм. *ца*, *i* на месте *ять*)”¹⁹. Однако долгое время он фактически остается в меньшинстве. Гораздо более авторитетно звучат голоса сторонников правописания, основанного на историко-этимологическом принципе. Среди них, несомненно, наибольший вес имело мнение М. Максимовича, взявшего за образец орфографию первых изданий Котляревского по двум причинам. Во-первых, она позволяла сохранить связь с традицией (прежде всего с традицией “общерусской”). Во-вторых, этимологическое правописание позволяло избежать копирования региональной речи: “Нашей малороссийской правописи не должно, да и нельзя уже быть простою, внешнею копировкою звуков языка буквами. Оно должно необходимо, кроме исторической своей стихии, выражать собой более или менее внутренние, этиологические законы и свойства нашего языка. Без этого не может быть и правописание нашего языка, существующее простираясь на все его видоизменения, какие существуют в устах говорящего имъ народа – отъ Карпатскихъ горъ до степей Задонскихъ и береговъ Кубани” (цит. по [45. С. 91], см. также [46. С. 312–328]). Разработанная Максимовичем и примененная им при издании сборников украинского фольклора (1827) историко-этимологическая система орфографии, вводившая надстрочные знаки для обозначения *i* на месте *o*, *e*, *u*, и и параллельное употребление *ы*, *и* для обозначения украинского *и*, становится общепризнанной в Российской империи и активно применяется. Для нас в данном случае важно, что оба аргумента Максимовича (традиционность и некоторая надрегиональность орфографии) в дальнейшем были использованы имперскими властями. Эта аргументация прекрасно вписывалась в идею литературного “общерусского” языка, позволяла поддержать историческую связь русских и украинских слов и звучания, а также препятствовала слишком активной литературной эманципации “малороссийского” наречия и регионализации письменного языка. Таким образом, попытки влияния на формирование орфографических норм украинского литературного языка уже в момент их складывания стали одним из важнейших аспектов языковой политики империи.

В то же время вплоть до 1850-х годов сама возможность украинских публикаций латиницей в Российской империи не ставилась под вопрос, о чем свидетель-

¹⁹ Цит. по [42. С. 41] (оригинальное издание [43]). Впервые для западноукраинской традиции этот принцип сформулировали составители и авторы альманаха “Русалка Дністровая” (1837): «Держалисмо-ся правила: “пиши як чуешь, а читай як видиш”» (см. [44. С. 60]).

ствуют, в частности, издания стихов Спиридона Осташевского [47] и других правобережных авторов (см. [48], о нем см., в частности, [49]). То же справедливо и для белорусского. С 1855 по 1857 г. В. Дунин-Марцинкевич без каких-либо проблем издал в империи четыре книги на белорусском языке латиницей.

Однако уже в 1859 г. издание латиницей белорусского перевода поэмы А. Мицкевича “Пан Тадеуш” было арестовано, причем именно из-за алфавита. Сам “Пан Тадеуш” в Российской империи запрещен не был. Власти даже выплатили Дунину-Марцинкевичу компенсацию за понесенные убытки, поскольку тираж был отпечатан до того, как власти приняли постановление, гласившее, что “печатание азбук, содержащих в себе применение польского алфавита к русскому языку”, отныне запрещается. Цензурный циркуляр специально уточнял, что “следует постановить правилом, чтобы сочинения на малорусском наречии, собственно для распространения между простым народом, печатались не иначе, как русскими буквами” [50. Ф. 772. Оп. 1. Ч. 2. Ед. хр. 4840]. После 1859 г. возможности легально издавать белорусские книги латиницей в Российской империи уже не было вплоть до начала XX в. [16].

Инициатива к запрету латиницы для украинского языка исходила от киевского отдельного цензора Новицкого²⁰. 14 марта 1859 г. Новицкий направил письмо попечителю Киевского учебного округа Н.И. Пирогову, в котором отмечалось распространение в империи “рукописей на малорусском наречии, но писанных польскими буквами”, а также ввоз из Галиции книг “на червонно-русском наречии, печатанных также польскими буквами”. Непосредственным толчком для Новицкого послужило, вероятно, знакомство с “Новой украинской азбукой”, написанной латиницей, которая была ему представлена на предмет получения разрешения к печати²¹. Цензор, в частности, писал: “Принимая во внимание, что с предстоящим освобождением крестьян грамотность между ними, по всей вероятности, распространится и усилится, что крестьяне западных губерний, встречая здесь книги, написанные на малороссийском языке только польскими буквами, естественно, захотят более изучать польский, чем русский алфавит.. что из обхождения с польским населением здешнего края, понимая польский язык, весьма легко могут перейти к чтению собственно польских книг и через то подвергнуться влиянию лишь польской литературы с отчуждением от духа и направления литературы русской, и наконец, что в Галиции... тамошнее польское население сознательно и упорно стремится к тому, чтобы между коренным русским населением вместо кирилловского алфавита ввести в употребление исключительно польский алфавит с целью подавления, литературным влиянием, русской народности и постепенного преобразования ее в народность польскую, каковые тенденции тем же путем могут распространиться на наши Западные губернии... не будет ли признано полезным, в видах охранения русской народности в русском населении Западных губерний постановить на будущее время, чтобы сочинения на малороссийском языке печатаны были в пределах России русскими буквами, или, где окажется нужным, церковнославянскими, и чтобы тексты на червонно-русском наречии, печатанные за границею польскими буквами, не дозволены были к привозу в Россию в значительном ко-

²⁰ В 1862–1863 г. Новицкий сыграл важную роль и в подготовке известного циркуляра Валуева о запрете популярных изданий на малорусском наречии.

²¹ Азбука упоминается в переписке попечителя округа с Министерством народного просвещения (см. [51. Л. 3]).

личестве экземпляров одного и того же сочинения” [51. Л. 1–1об]. 5 мая 1959 г. Пирогов написал на основании данного письма представление министру народного просвещения гр. Е.В. Путятину, а уже 30 мая Путятин разослал циркуляр за номером 1296, который и устанавливал этот запрет [51. Л. Зоб., 7, 7об]. Аналогичные меры были распространены на белорусский язык. 19 июня 1859 г. Пирогов разослал распоряжение о выполнении циркуляра в подведомственные ему органы цензуры, т.е. от момента, когда киевский цензор Новицкий сформулировал свои предложения, до превращения их в официальную инструкцию МНП прошло лишь три месяца.

В письме Новицкого ясно обозначены все причины, по которым власти могли опасаться распространения польского алфавита применительно к украинскому и белорусскому языкам. Очевидно, что события в Галиции в 1858–1859 гг. сыграли здесь далеко не последнюю роль. Разъяренный поведением Австрии в ходе Крымской войны, Петербург с особым вниманием следил теперь за любыми шагами Вены, и реакция на “игры с алфавитом” в Галиции была незамедлительной. Это тем более любопытно, что на тот момент в имперской бюрократии еще не было ясного мнения по вопросам, касавшимся статуса украинского языка в Российской империи, в частности о возможности его использования в школах, для перевода Священного писания и для издания журналов. Эти проблемы интенсивно обсуждаются вплоть до 1862 г., причем мотив угрозы того, что поляки хотят “взять в свои руки инициативу в деле образования простого народа в Юго-Западном крае в видах распространения польской национальности”, оставался важным в этих дискуссиях²².

Польское восстание 1863 г. ускорило не только процесс принятия бюрократических решений в отношении языковой политики на западных окраинах империи, но и кристаллизацию проекта “общерусской нации”. Валуевский циркуляр, понимавшийся как временная мера, запретил летом 1863 г. украинский перевод Священного писания (об этом см., в частности, [53. С. 26–27]) и использование украинского в школе и в публикациях “для простонародья”. Галиция в этом контексте выступает как центр конкурирующего проекта – сначала польского, позже – собственно украинского. Имперская политика в отношении украинского языка предполагала разные уровни регламентирования языковой сферы. Наряду со стремлением властей не допустить повышения статуса языка и предотвратить литературную эмансиацию “наречия”, объектом воздействия становится языковая система как таковая. Цель состояла в недопущении формального ограничения от русского языка на всех уровнях системы. Решение 1859 г. о запрете латиницы для “малорусского наречия”, которое изначально было реакцией на события в Галиции и на попытки поляков и пропольски ориентированных украинских и белорусских деятелей распространить латиницу среди крестьян западных окраин, теперь стало частью широкой системы мер, направленных на ассимиляцию восточнославянского населения империи в единую нацию.

Интересно в этой связи проследить использование языка в польской пропаганде в ходе подготовки к восстанию 1863 г.²³. В отличие от 1830–1831 гг. про-

²² Об этом, со ссылкой на министра внутренних дел Валуева, писал председателю Церзурного комитета барону А.П. Николаю летом 1861 г. министр народного просвещения Путятин [51. Ф. 707. Оп. 261. Ед. хр. 7. Л. 5]. О дискуссиях по поводу статуса украинского языка см. также [4. С. 63–110; 52].

²³ О пропагандистской деятельности руководства восстания см. [54. С. 181–189].

пагандистские тексты, в том числе воззвания к крестьянству, публикуются либо по-польски, либо по-украински, но уже только с использованием кириллического алфавита. В этом отношении особенно показателен такой известный документ, как “Золотая грамота”. “Грамота” распространялась на всей территории, охваченной восстанием. Повстанческое руководство не исключало возможности выступления крестьян против повстанцев и старалось избежать восприятия восстания крестьянским населением западных окраин как дела “шляхетского” и “польского”. «Именно по этой причине повстанческое руководство остерегалось полонизмов как в тексте “Золотой грамоты”, так и во внешнем ее оформлении» [55. С. 205]. Этот факт свидетельствует об окончательном закреплении за кириллицей функции национального украинского атрибута, причем также в сознании поляков.

Впрочем, это справедливо только для украинского случая. В то же самое время (в мае 1863 г.) подпольное правительство повстанцев издало специальный манифест, адресованный “братьям Белорусам”. Этот документ был напечатан на белорусском языке латиницей. Языковая форма воззвания здесь, как и в украинском случае, была тщательно продумана. Использование же латиницы, по-видимому, могло быть связано с характером адресата пропагандистских текстов: естественно, что повстанцы ожидали найти своих союзников прежде всего в среде белорусов-католиков. В качестве другой возможной причины использования восставшими “своего” графического кода при обращении к населению белорусских земель можно рассматривать большую (чем в случае с Украиной) размытость культурно-цивилизационной границы. Это связано, среди прочего, с более поздним оформлением собственно белорусского национального (и культурно-языкового) дискурса. Как следствие, здесь не было “азбучных войн”, да и четкой позиции в отношении латиницы с белорусской стороны так и не сформировалось. В свою очередь, российские власти, приняв вызов польских повстанцев, попытались организовать контрпропаганду и издали ряд брошюров на белорусском языке кириллическим шрифтом, адресуя их, как и поляки, крестьянам²⁴. Как видим, в белорусском случае эксплуатация конфликта алфавитов продолжается представителями обоих конкурирующих “больших” проектов: русского и польского; борьба за идентичность в условиях неопределенности еще не завершена.

Вскоре после подавления восстания, в 1865 г., власти Российской империи ввели запрет на латиницу и для литовского языка. Сравнение этой меры с запретом латиницы для украинского и белорусского в 1859 г. позволяет увидеть различия в стратегическом целеполагании властей при принятии мер, которые, на первый взгляд, кажутся идентичными.

Власти империй меньше, чем власти национальных государств, озабочены гомогенностью населения, особенно на окраинах. Далеко не всегда имперская власть, в том числе и при регулировании языковых вопросов, руководствуется националистической логикой, т.е. ставит перед собой цель реализации того или иного проекта культурной и языковой гомогенизации. Нередко приоритетом здесь является лояльность, т.е. утверждение такой версии локальной идентичности, которая была бы совместима с лояльностью империи (по определению гетерогенной политики), в том числе лояльности цивилизационной. Различие

²⁴ В 1861 г. в Могилеве вышла брошюра “Бяседа старога вольніка з новымі пра іхняе дзе-ла” (б.м., 31 с.), подробнее см. [16].

национального и цивилизационного фактора в политике властей не всегда можно провести достаточно четко, но оно заслуживает подробного обсуждения. Образ Российской империи – особого цивилизационного пространства, где окраины лояльны центру не только как центру власти, но и как центру цивилизационного притяжения, безусловно, существовал в качестве идеала в умах имперской элиты. Часто используемый в то время термин “сближение” далеко не всегда означал русификацию в националистическом смысле, т.е. ассимиляцию и внедрение русской национальной идентичности. Уже упоминавшиеся проекты перевода польского языка на кириллицу в период между восстаниями связаны были скорее с надеждой утвердить среди поляков такую версию польской идентичности, которая сочеталась бы с лояльностью империи и династии. Запрет на латиницу в отношении литовского языка также был направлен не на ассимиляцию, но на аккультурацию в Российской империи. Цель состояла не в том, чтобы сделать литовцев русскими, но в том, чтобы максимально дистанцировать их от мятежных поляков.

Подобная политика применялась не только на западных окраинах. В 1858 г. в Волго-Камском регионе массовые переходы крестьян в ислам вызвали к жизни систему, разработанную известным миссионером и востоковедом Н.И. Ильминским. К 1862 г. он подготовил для крестьян перевод на татарский буквarya и молитвенника с использованием кириллического алфавита. Этот же принцип перевода религиозной литературы на местные языки с кириллическим письмом был применен Ильминским в отношении ряда народов Поволжья, а также башкир и казахов. Здесь нужно отметить два обстоятельства. Еще в начале 1850-х годов Ильминский, отдавая приоритет миссионерской деятельности над языковой русификацией, планировал разработку письменности для ряда местных языков с использованием арабской графики. Только под влиянием более опытного востоковеда В.В. Григорьева, который убедил его в существовании угрозы распространения татарского влияния (а с ним идей исламизма и пантюркизма) на соседние народы, Ильминский остановил свой выбор на кириллице [56]. Его деятельность не раз подвергалась нападкам со стороны приверженцев языковой русификации. Одним из контрапунктов Ильминского было то, что татарский ассимиляционный проект имел в то время больший потенциал, и его деятельность по развитию местных языков блокирует эту опасность, а кириллица служит предпосылкой для более легкого последующего усвоения русского (о ситуации в Волго-Камском регионе см. [57–60]).

Таким образом, при всех различиях рассмотренных ситуаций на имперских окраинах мы видим ряд сходных черт. Во всех случаях у властей существовало опасение, что определенная группа на окраине достаточно сильна в материальном и культурном отношении, чтобы попытаться реализовать собственный ассимиляционный проект в отношении более слабых групп. В Западном крае сооперником Российской империи выступало лишенное государства польское движение, в остзейских провинциях эта угроза была прямо связана с растущей силой Германии, а в Поволжье – с Османской империей как альтернативным центром притяжения мусульман и тюркских народов. Во всех случаях власти стремились воспрепятствовать реализации такого проекта, и во всех случаях одним из инструментов было более или менее настойчивое насаждение кириллицы. Опыт Ильминского показывает, что не всегда это являлось результатом прямолинейного стремления к русификации – ведь он даже разрабатывал письменность на местных языках. В Западном крае литовский случай также принад-

лежит к данной категории, поскольку приоритетом была борьба с конкурирующим влиянием и стремление закрепить версию идентичности, которая сочеталась бы с лояльностью империи, в том числе и как цивилизационному пространству. Если мы учтем, что в Галиции политика поляков пользовалась поддержкой Вены, то будет очевидно, что во всех случаях можно говорить о языковой политике как о части сложной системы соревнования между империями-соседями.

В отношении восточнославянского населения западных окраин власти к началу 1860-х годов выработали мнение, согласно которому обучение грамотности должно было происходить на “общерусском” литературном языке. Украинский и белорусский должны были остаться на положении наречий как языки для “домашнего обихода”, для издания художественной литературы о местной жизни, исторических и фольклорных памятников. Попытки поляков использовать латиницу для украинского и белорусского однозначно воспринимались как стремление перетянуть “русинов” на свою сторону, а те, кто уже мыслил националистическими категориями, видел в них желание “расколоть” формирующуюся общерусскую нацию. Уже в запрете латиницы применительно к “русскому” языку в 1859 г. речь отнюдь не случайно идет о польских (а не латинских) буквах. Очевидно, что в политике в отношении украинского и белорусского языков сочеталось, с одной стороны, стремление нейтрализовать попытки поляков, в том числе и с помощью алфавита, провести на этом пространстве цивилизационную черту по границе Речи Посполитой 1772 г., и ассимиляторский план объединения всех восточных славян империи в рамках “общерусской нации” – с другой.

В свою очередь, в центре внимания украинского националистического дискурса с 1860-х годов оказался вопрос о том, какая система орфографии – фонетическая или этимологическая – должна использоваться в украинских публикациях. Это было напрямую связано с конфликтом “общерусской” и “украинской” наций. В ходе орфографической дискуссии, развернувшейся в петербургских, киевских и харьковских изданиях, этимологическое письмо становится не только символом традиции, но и знаком ее единства, общерусского характера; фонетическая орфография, в свою очередь, становится не только средством собственно языковой модернизации, но и национальной эманципации. Постепенная фонетизация украинской орфографии (как в Российской империи, так и на западноукраинских землях²⁵) означала постепенное оформление собственно украинского языкового и национального проекта.

Осуществившееся в начале 1860-х годов переосмысление орфографических дискуссий в национальных категориях вызывало вполне естественную реакцию со стороны властей. После восстания 1863 г. и принятия Валуевского циркуляра и Эмских инструкций 1876 г. (тексты обоих документов см. [4. С. 240–244]), резко ограничивших разрешенную сферу применения украинского языка, власти продолжили попытки регулирования украинского языкового пространства, но теперь именно в вопросах орфографии. Цензура инструктировала издателей, что за образец правописания должна быть принята этимологическая орфография “Собрания сочинений на малороссийском наречии” И.П. Котляревского (Киев, 1875) [50. Ф. 776. Оп. 11. Ед. хр. 61а. Л. 41об]. Власти стремились регули-

²⁵ Обзор процесса постепенной “фонетизации” орфографии с собственно филологической перспективы см. [61. С. 6–9; 34. С. 9–15]

ровать вопросы орфографии там, где украинский был разрешен, преследуя цель не дать увеличить дистанцию между русской и украинской нормами, в том числе искусственно фиксируя украинскую норму на более раннем этапе развития (первое издание Котляревского – 1798). В Эмских инструкциях специально запрещалась так называемая кулишовка, т.е. фонетическая орфография, разработанная П.А. Кулишем²⁶. С точки зрения властей она представляла собой не что иное, как увеличение разрыва между “общерусским” языком и “малорусским наречием” при помощи формальных графических средств.

Если в Российской империи этот вопрос оказался решенным “сверху” до 1905 г., в Галиции обсуждение орфографической проблемы в рамках национальной языковой программы продолжалось. Орфографические дискуссии разгораются с новой силой в середине 1880-х годов в связи с инициативами профессоров Черновицкого университета С. Смаль-Стоцкого и Ф. Гартнера, которые обратились в министерство образования с предложением ввести фонетическое письмо в школьное обучение. Получив поддержку из Вены, они создали школьную грамматику, применив там последовательный фонетический принцип для передачи украинской речи²⁷. Активно поддержал позицию “модернистов” М. Драгоманов. С 1878 г. он издает кириллицей произведения, в которых использует собственную систему орфографии, реализующую последовательное требование буквального фонетического соответствия (один звук – одна буква)²⁸. Здесь же Драгоманов формулирует главный свой аргумент в пользу такой системы орфографии: практичность, применимость для народной аудитории: “Фонетична правопись, це полегкість всъакій дитині, вивчитись читати ѹ писати, всъакому мужикові раз на завше задержати собі в голові орфографіју, не бојатись граматичних помилок, обходитись без писаря і т.и.!” [63. С. 166].

С именем Драгоманова связана и последняя попытка возвращения проблемы латинского алфавита в публичный украинский дискурс. В различных изданиях в 1881–1882 гг. он применял различные системы письма на основе латиницы, попытавшись объединить разные традиции²⁹. Наряду с обычным для галицких “латинизаторов” аргументом (латиница “зблизила б нас з більше цивілізованим світом”), Драгоманов при этом ссылается на то, что в Галиции “люде говорять по-русъки, а письма іншого й не знають, окрім польського” [65. С. 280]. Он был

²⁶ Из выводов комиссии “Для пресечения украинофильской пропаганды” (1875): «Воспрепрети в Империи печатание, на том же наречии, каких бы то ни было оригинальных произведений или переводов, за исключением исторических памятников, но с тем, чтобы и эти последние, если принадлежат к устной народной словесности (каковы песни, сказки, пословицы), издаваемы были без отступления от общерусской орфографии (т.е. не печатались так называемой “кулишовкою”») (цит. по [4. С. 242]).

²⁷ “Правопись, що тут виложена, є в головних точках фонетична, бо вона має за основу правило: Пиши, як правильно говориться. Правильно говорити значить обминати в мові всяки місцеві (нарічеві) властивості” (цит. по [62. С. 106]). О роли Министерства образования в утверждении фонетического правописания в Галиции см. [34. С. 9–15].

²⁸ Это требование прозвучало также в проекте Й. Иречека. Первым изданием с использованием “драгомановки” стал “Кобзарь” Т. Шевченко (Женева, 1878; второе издание 1881); отличительный признак орфографии Драгоманова – использование в кириллице знака ѹ для передачи йотированных гласных я, ю, е, і – ja, ju, je, ji.

²⁹ Так, в переписке с М. Павликом (членом Научного общества им. Шевченко и его библиотекарем, соредактором ежемесячника “Громадський друг”, позже соредактором женевской “Громады”), начиная с 1879 г., он использовал комбинированную латиницу (подробнее см. [37. С. 16(158)]); в издании “Марии” (1882) – польскую; в «Письме в редакцию “Pracy”» (1882) – смешанную польско-чешскую [64. С. 4–11].

убежден, что “з ортографії не можна робити святощів, як це роблять українці з так званою кирилівською азбукою, з неї не можна робити фетіша й переносити того фетішізму і в народ”³⁰. Драгоманову, однако, так и не удалось вернуть латиницу в галицийский узус, нереализованными остались планы по изданию в 1882–1883 гг. во Львове латиницей украинской газеты в качестве приложения к польскому изданию “Praca”³¹, а проблема латинизации украинского письма вновь оказалась в рамках традиционного для Галиции украинско-польского спора. Осуществленное же им в Женеве издание поэмы “Мария” Т. Шевченко [66. С. 6–7]³² вызвало вполне ожидаемые обвинения в пренебрежении традицией и полонизаторских намерениях³³.

Показательно, что реакцией на модернистские проекты фонетизации украинского письма, как на основе латиницы, так и кириллицы, в Галиции стал отход части “народовских” изданий (например “Діло”) от принципов фонетической орфографии в сторону этимологии, но принципиально вопрос о форме языкового выражения украинскими националистами был решен именно в пользу фонетики.

Очевидно, что усилия Петербурга по вмешательству в языковую сферу принесли различные плоды в разных частях Западного края. Причину следует искаать, в том числе, в различиях культурно-письменных традиций, определивших формы явного или скрытого противодействия имперской языковой политике. Так, в литовском случае традиция употребления кириллицы отсутствовала в принципе, она воспринималась как символ однозначно чужой культуры, что и предопределило провал имперского проекта по переводу письма на кириллицу. Отмена запрета на применение латиницы со стороны властей в 1904 г. может рассматриваться как вынужденное признание поражения. В белорусском случае, несмотря на официальный запрет публикаций на латинице, традиция ее употребления оказалась довольно прочной. Соревнование двух культурно-цивилизационных традиций в белорусской языковой среде возобновилось уже в начале XX в. после ослабления, а затем и снятия ряда цензурных ограничений. Так, среди 25 периодических изданий, выходивших в Белоруссии в период с 1901 по 1917 г., 9 печатались латиницей, а “Наша Доля” и “Наша Нива” – двумя шрифтами. Всего до 1918 г. тексты на белорусском языке встречались в 423 книжных изданиях, из них 129 были напечатаны латиницей, а в некоторых присутствовали и латинские, и кириллические тексты³⁴. Принципиальное отличие от украинского случая (при изначально схожей традиции употребления латиницы) определялось спецификой конфессиональной и социальной структуры

³⁰ См. [65. С. 280]; смр. [37. С. 13 (155)]; см. также: “Ми ніколи не робили з справ формальних – справи прінципіальної. На забуку о правопись ми дивимось jak на справу важну, та все таки формальну і, jak би треба було dla чого, то готові писати хоч гіерогліфами” (цит. по [63. С. 162]).

³¹ Планировалось назвать ее “Robota”, затем “Wilna Spilka”. См. соображения М. Павлика из письма Драгоманову, 1882: “З усім тим, будущій нашій газеті в Галичині треба буде друкуватись польською правописью, хоті я ще в цім вагујусь” (цит. по [37. С. 32 (174)]).

³² Ср. другие издания произведений Т. Шевченко латиницей в поленофильских изданиях “Dziennik literacki” (1861, № 60, 62, 64) и “Sioł o” (1866. Z. 2-3) в Галиции; подробнее см. [67].

³³ Главным оппонентом Драгоманова стал один из видных “традиционистов” Омелян Партицкий, автор одной из самых резких рецензий на “Марию”: см. “Вольное слово” (1882, № 36); о других рецензиях на издание см. [67].

³⁴ В том числе с 1901 по 1917 г. было издано 245 книг на белорусском языке, из них 158 на кириллице и 87 латиницей. Данные приведены в [16], см. также [68, 69].

белорусского общества: значительная часть крестьянского населения на белорусских землях идентифицировала себя с католическим (латинским) кругом культуры, латиница была составным элементом их сакрального мира. Не учитывать этого в своих попытках национальной и языковой мобилизации крестьянства белорусские националисты не могли. Этот факт, в свою очередь, препятствовал идеологизации проблемы алфавита в белорусском национальном дискурсе, тем самым здесь возобладали соображения практической целесообразности. Так, Вацлав Ивановский, возможный соавтор Марьяна Фальского в написании белорусского букваря на латинице 1905 г., отмечал по поводу использования двух шрифтов в белорусском книгопечатании: “Все мы знаем, что среди нас, Полешуков, Белорусов или – как еще себя называем – тутэйших, есть католики и православные; католики больше привыкли к латинским буквам, которые неправильно называют польскими, православные же к славянским, или, как говорят, русским.... Поэтому специально издаем букварь двумя шрифтами, выбирай, что тебе нравится, лишь бы знал каждый, что хоть буквы и разные, но звуки, силабы и слова те же самые, язык тот же и люди, которые разговаривают одним языком, это родные братья” (цит. по [70. С. 41]). Не решена была и главная задача: литературная эмансиация белорусского языка. В этих условиях белорусские националисты отводили алфавиту служебную, подчиненную роль (подробнее об этом см. [16]). Не став средством проведения национальной языковой политики, латиница, тем не менее, оказалась важным фактом языкового узуза, вступавшим в противоречие с проектом общерусского языка. Но поражение “объединительных” языковых усилий властей в Белоруссии оказалось временным.

* * *

Политика в отношении различных алфавитов претерпела причудливые изменения в первые десятилетия существования СССР [71. С. 182–207, 422–429]. Коренизация, проводившаяся в СССР в 1920-е годы, была основана на идеологии деколонизации и предусматривала поощрение местных языков в администрации и образовании. Кириллица воспринималась как один из символов русского империализма и русификации. Еще до того, как была выработана официальная позиция по языковым вопросам, некоторые народы перешли с кириллицы на латиницу (якуты в 1920, осетины в 1923 г.). Однако в целом ряде случаев этнические группы отвергли инициативы по введению латиницы и предпочли реформировать уже имевшуюся кириллическую письменность (коми, мордва, чуваши, удмурты). С монгольского письма на кириллицу перешли калмыки; кириллицу выбрали также хакасы, ассирийцы, цыгане, ойроты и некоторые другие малые народы. Таким образом, можно сказать, что в “свободном соревновании” латиницы и кириллицы однозначного преимущества ни один алфавит не имел.

Особенно интенсивно вопрос о введении латиницы обсуждался среди мусульманского населения. Движение за утверждение “нового тюркского алфавита” на основе латиницы было инициировано в Азербайджане в 1922 г. В 1926 г. в Баку прошел Тюркологический конгресс, который утвердил план реформы. К 1927 г. эта инициатива получила санкцию Политбюро и финансирование из госбюджета. Большевистское руководство считало, что переход на латиницу подорвет влияние ислама, который прочно ассоциировался с арабской письменно-

стью. Пантюркистский аспект этого проекта еще не слишком беспокоил Москву. К 1930 г. 39 языков были переведены на латиницу. Часть из них переходила на латиницу с кириллицы, в чем власти, провозгласившие великорусский шовинизм главной опасностью, не видели ничего предосудительного. Кампания перевода с кириллицы на латиницу финно-угорских языков при полной поддержке центральных властей была предпринята в конце 1920 – начале 1930-х годов. Всего к 1932 г. в СССР были переведены на латиницу 66 языков, а еще 7 готовили к этому. В конце 1920-х была даже начата подготовка к переводу на латиницу русского языка (прекращенная только в 1930 г. по специальному указанию Политбюро). Мы видим, что с изменением идеологических установок и политических приоритетов центральная власть в новой империи – СССР – могла кардинально изменить политику в отношении алфавитов по сравнению с властями царской империи.

На этом фоне особенно показательна судьба латинизаторских проектов в Белорусской ССР и Украинской ССР, т.е. на бывших западных окраинах Российской империи. Главная задача языкового строительства на Украине в 1920-е годы – создание единой орфографии для всех украинских земель с учетом исторического опыта ее развития. Эту задачу призвана была решить созданная 23 июля 1925 г. Государственная орфографическая комиссия при Народном комиссариате образования³⁵. В общей сложности на ее рассмотрение было представлено 60 проектов (в том числе 37 из Галиции), результатом работы комиссии стало издание сводного проекта “Український правопис” (Харків, 1926), где особо ставилась задача упорядочения алфавита (с. 4). Завершающим этапом обсуждения стал созыв в 1927 г. Всеукраинской конференция по вопросу упорядочения орфографии, который прошел в Харькове с участием представителей Западной и Восточной Украины (всего было 75 участников). Осознание того, что в орфографических дискуссиях по-прежнему присутствуют и внешние акторы, заметно в высказываниях республиканского руководства: “Тут приходиться уникати уклонів в двох напрямках, що мають місце при виданні українського правопису: стремління шляхом правопису відріжняти українську мову від польської або від російської мови, залежно від тої чи іншої орієнтації, яка є у тих чи інших представників нашої науково-суспільної думки”³⁶. “Український правопис” после бурного обсуждения на конференции и дополнительной доработки Президиумом комиссии (в ее состав входили А. Приходько, А. Крымский, О. Синявский, С. Пилипенко) был утвержден наркомом образования М. Скрипником в сентябре 1928 г.; спустя некоторое время в мае 1929 г. “Правопис” был одобрен на заседании Научного общества им. Шевченко во Львове [34. С. 20–21], что знаменовало важный этап в создании единой украинской литературной нормы.

Орфографическая дискуссия открыла возможность и для возвращения к вопросу о латинице применительно к украинскому языку, который, казалось, был уже решен окончательно. На этот раз проект латинизации украинского письма

³⁵ Об усилиях украинских ученых в этом направлении до 1925 г., а также о работе Комиссии см. [61. С. 14–17].

³⁶ Цит. по [72. С. 128]; использован отрывок из вступительной статьи от редакции перевода книги “В. Ленін. Дві тактики” (Харків, 1926) за подписью М. Скрипника. Эти высказывания Скрипника позже были использованы против него: «Очевидно, т. М. Скрипник стояв і на тій “орієнтації”, щоб відріжняти українську мову за допомогою українського правопису від російської мови» [72. С. 128] (впервые напечатано в [73. С. 42–56]).

был связан с концепцией марризма, предполагавшей и перевод русского языка на латиницу. В этом контексте латинизация рассматривалась как первый шаг по унификации языков и письма на основе единого латинского алфавита как наиболее распространенного, становясь актуальным заданием коммунистического строительства [74. С. 9]. Идею об унификации алфавитов применительно к украинскому языку сформулировал в 1923 г. писатель и журналист Сергей Пилипенко. В своем опубликованном латиницей письме “Odvertyj lyst do vsix, kto cikavijt’sja cijemu spravoju” он заявляет: “сейчас или никогда”. “Sprava cja stojit’ majže dylemoju... Ljudstvo maje odnakovo pysaty, aby men’še vytračaty času na oznamlennja z ynšymy movamy... latyns’kyj al’favit... je najkraščym sposobom unifikaty jak najskorše i jak najzručniše pys’mo rižnych narodiv” (цит. по [75. С. 349], впервые напечатано в [76]). Отбрасывая возможные обвинения со стороны “московофилов” (“u odhorožuvanni od rosijs’koji kul’tury, toji kultury, što najperša maje koruljuvaty z ukrajins’koju”), так и “украинофилов” («pro odhorožuvannia vod Halyčyny i do pevnoji miry “polonizaci”»), он в практической сфере предлагал постепенный перевод на латиницу школьного обучения и переход на печатание газет параллельно двумя алфавитами. Предложение С. Пилипенко поддержал Михаил Йогансен, подхвативший идею “латинского, а теперь интернационального алфавита” [77. С. 167–169]. Радикальный проект реформированной латинской в своей основе украинской орфографии был на практике использован группой киевских футуристов “Семафор в майбутнє”.

Однако в ходе обсуждения на Орфографической конференции 1927 г. предложение о переводе украинского письма на латиницу было отвергнуто. Эти проекты оказались на периферии общественного и языкового внимания, отодвинутые на задний план более актуальным заданием унификации западно- и восточноукраинской орфографических (кирилических) традиций. Тем не менее сам факт их появления хорошо отражает общий реформаторский настрой эпохи “украинизации”. Заметим, что часть этих предложений (их внес М. Скрипник) Конференция первоначально утвердила, и только вмешательство республиканских партийных властей не позволило им появиться в окончательной версии “Українського правописа”: «На конференції виникла дискусія в зв’язку з тим, що виступала досить значна група робітників конференції, яка запропонувала ввести латинську абетку в українську мову замість дотеперішньої кирилівки. Зрозуміло, що це поставило б бар’єр між російською та українською мовою, зрозуміло, що це на руку українським націоналістам. І коли голосуванням ці пропозиції було відкинуто, справа з алфавитом на цьому не закінчилась. Тов. М. Скрипник вніс пропозицію в український алфавіт внести дві латинських літери для визначення звуків “дз” та “дж”... ЦК КП(б)У під керівництвом Л.М. Кагановича – засудив таку лінію на введення в українському алфавіті нових латинських літер. Конференція скасувала своє попереднє рішення про “дз” і “дж”» (цит. по [72. С. 123]).

В советской Белоруссии этого периода без труда обнаруживаются аналогии с украинской ситуацией. Политика коренизации создавала чрезвычайно выгодные условия для становления последовательного фонетического правописания для белорусского языка. Академическая конференция по упорядочению орфографии прошла немного раньше украинской, в 1926 г. На ней также поднимался вопрос о возможности использования латиницы в белорусском письме, причем в этом случае аргументация такого шага была более основательной, чем на Украине. Помимо заявлений в революционно-марристском духе о латинице как

графике будущего и международном алфавите, среди доводов сторонников латинизации звучало обоснование ее преимуществ для передачи звуковых особенностей белорусской речи на письме; апеллировали они и к существованию устойчивой местной традиции использования латиницы в среде крестьян-католиков (о ходе конференции см. [78. С. 200–207]).

Убежденность в несвоевременности радикальных перемен в графической форме языка³⁷, а также усматривание в проектах по введению латиницы очередной попытки полонизации предопределили их провал и на Украине, и в Белоруссии. Весьма типично в этом отношении высказывание одного из идеологов языковой политики на Украине эпохи украинизации наркома просвещения М. Скрипника, который, подводя итоги орфографической дискуссии, увязывает идеи латинизации в разные исторические периоды прежде всего с темой “внешней” национальной угрозы: “Були ще спроби завести латинський альфабет для української мови. Видатнішими представниками введення цієї течії були з одного боку – група сполячених українських письменників 30 років 19 сторіччя, з другого боку, провідники колонізації в Західній Галичині 70-х та 90-х років, а останніми часами провідники чехізації на Закарпатській Україні та румунський уряд, що в Бесарабії та Буковині нині живосилом провадить латинську абетку для українського населення Бесарабії та Буковини” [79. С. 418]. Эти аргументы были затем использованы властями, которые поспешили вмешаться и устроить политическое разбирательство. Уже в 1929 г. обвинения в планах по введению латиницы и пропольских настроениях фигурировали при арестах украинских и белорусских лингвистов. Отказ от идеи введения латинского алфавита не избавил их от обвинений в национализме, сформулированных комиссией Наркомпроса Украины по проверке работы на языковом фронте во главе с А. Хвылей. Выводы комиссии звучали так: “Нова комісія розглянула правопис і кардинально його переробила, відкинувши штучне відмежовування української мови від російської, спростивши правопис, ліквідувавши націоналістичні правила цього правопису, що орієнтували українську мову на польську, чеську буржуазну культуру” [80. С. 108]³⁸.

Рассмотренный нами сюжет показывает, что выбор алфавита для украинского языка в XIX и XX вв. неизменно был предметом политической борьбы. Участниками этой борьбы были как “национальные”, так и “внешние” акторы, а стратегии “национальных” акторов во многом определялись внешним контекстом.

Дальнейшая судьба белорусской и украинской орфографий (уже вне дискурса противопоставления алфавитов) является собой пример сознательного влияния на систему языка с целью ограничения разрастания национальных проектов через влияние на практику кодификации. Логика языкового строительства с середины 1930-х годов исходит не столько из необходимости нейтрализации внеш-

³⁷ “Дійсно заведення латинської абетки нині є фактом всіх тюркських народів СРСР. Правильно також, що латинська абетка значно спростила би український правопис, але автори тої пропозиції не зважили найголовніше того, що мілійони народів наших уже знають нашу звичайну абетку. Отже справа не в тому, щоб переучувати людей, що уже знають українську звичайну абетку на новий альфабет, а в тому, щоб яко можна скоріше навчити писати тих, що ніякої абетки не знають” (цит. по [79. С. 422–423]).

³⁸ В 1933 были репрессированы члены Президиума орфографической комиссии А. Приходько и инициатор латинизации С. Пилипенко (А. Крымский и О. Синявский подверглись репрессиям несколько позже).

него влияния на близкородственные русскому языки, сколько из стремления не допустить разрыва национальных и русской норм. Такая направленность “Українського правописа” (1933) декларируется открыто: “Основні виправлення стосуються ліквідації усіх правил, що орієнтували українську мову на польську та чеську буржуазні культури, перекручували сучасну українську мову, ставили бар’єр між українською та російською мовами. В зв’язку з цим а) ліквідовано націоналістичні правила щодо правопису іншомовних слів; б) викинуто з правопису форми, що засмічували сучасну українську мову архаїзмами, непотрібними паралелізмами, провінціалізмами” [81. С. 108]. В соответствии с логикой уничтожения “националистических ростков на языковом фронте” из украинского алфавита в 1933 г. была устранена, в частности, буква *г* как избыточная и даже вредная. Проект изменений белорусского правописания был утвержден постановлением Совета народных комиссаров Белорусской ССР также в 1933. Он зафиксировал некоторый отход от последовательного фонетического правописания. Другие направления вмешательства в сферу кодификации были аналогичны украинским: регламентация правописания и произношения слов иноязычного происхождения, устранение параллельных морфологических форм, отсутствующих в русском языке, отказ от терминов и лексем, тесно связанных с отдельными региональными традициями. Призывы к унификации норм повторяются вплоть до 1980-х, со временем только усиливаясь³⁹.

В качестве послесловия к нашей теме посмотрим на опыт использования латиницы в современных газетных, рекламных и других публикациях на Украине. Будучи ярким примером постмодернистской языковой игры (или игры с языком?), латинизированные тексты одновременно прекрасно вписываются в контекст “алфавитных войн” прошлого. Очевидно, что практика львовского журнала “Ї” или газеты “Поступ” по использованию латиницы, будучи обусловленной практическими и эстетическими целями, одновременно вызывает ассоциации с традицией употребления латиницы в XIX в. в данном регионе и работает на создание локального (регионального), почти экзотического колорита. Негативный языковой опыт, закрепленный в этноязыковом сознании, при ослаблении внешнего давления может вызывать процесс реэтничизации и установления новой связи с алфавитом. Так, в новых условиях связь с латиницей в украинском культурном дискурсе была переосмыслена. Она больше не воспринимается в категориях противопоставления национальных проектов (украинского и польского), но оказывается включенной в собственно украинскую национальную традицию, становясь средством региональной и/или исторической стилизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Fishman J.A. Language and Ethnicity: The View from Within // The Handbook of Sociolinguistics / Ed. by Florian Coulmas. Cambridge, 1997.
2. Миллер А. Империя Романовых и национализм. М., 2006.

³⁹ “На этапе развитого социализма, закономерностью которого является взаимодействие языков социалистических наций при наличии языка межнационального общения, роль которого успешно выполняет русский язык, не учитывать данной ситуации при выработке правил правописания было бы неоправданно, тем более, что в орфографических системах белорусского и русского языков много общего. Это обстоятельство требует идентичного отражения на письме одинаковых или близких явлений обоих языков, что должно способствовать повышению общей грамотности и стабилизации орфографического режима в школе, книжноиздательском деле, повседневной письменной практике” [78. С. 206].

3. *Miller A. The Value and the Limits of Comparative Approach to the History of Contiguous Empires on the European Periphery // Towards Imperiology: From Empirical Knowledge to Discussing the Russian Empire.* Sapporo, 2006.
4. Миллер А. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении. СПб., 2000.
5. Миллер А. Язык, идентичность и лояльность в политике властей Российской империи // Россия и Балтия. Остзейские губернии и Северо-Западный край в политике реформ Российской империи. 2-я половина XVIII–XX в. М., 2004.
6. Остапчук О. Фактор полилингвизма в истории украинского литературного языка // Славянский вестник. М., 2004. Вып. 2.
7. Малиновська Н. Фонетична система української мови XVII – початку XVIII ст. і латинська графіка. Olomouc, 2005.
8. Софронова Л. Функция границы в формировании украинской культуры XVII–XVIII веков // Россия–Украина: история взаимоотношений. М., 1997.
9. Brogi Bercoff G. Plurilinguism in Russia and in the Ruthenian Lands in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. The Case of Stefan Javors'kyj // Speculum Slavie Orientalis: Muscovy, Ruthenia and Lithuania in the Late Middle Ages (Московия, Юго-Западная Русь и Литва в период позднего Средневековья) / Под ред. Вяч.Вс. Иванова и Ю. Верхоланцевой. М., 2005.
10. Moser M. Das Ukrainische im Gebrauch der griechisch-katholischen Kirche in Galizien (1772–1859) // Das Ukrainische als Kirchensprache. Українська мова в церквах. Wien, 2005.
11. Ісаєвич Я. Українське книгодавство: витоки, розвиток, проблеми. Львів, 2002.
12. Вибір з історії старого руського письменства Подкарпаття (отъ найдавнѣйшихъ початковъ до середини XIX в.) / Сост. Н. Лелекач и М. Грига. Унгварь, 1943.
13. Biblioteka Książąt Czartoryskich (Kraków). Zbiór 3940 IV.
14. Ukrainky z nutoju Tymka Padurty. Warszawa, 1844.
15. Wacław z Oleska. Pieśni polskie i ruskie ludu galicyjskiego. Lwów, 1833.
16. Токтъ С. Латиница или кириллица: проблема выбора шрифта в белорусском национальном движении во второй половине XIX – начале XX века // Ab Imperio. 2005. № 2.
17. Худаш М.Л. Алфавітно-правописні принципи Йосипа Лозинського // Лозинський Й. Українське весілля. Київ, 1992.
18. Франко І. Азбучна війна в Галичині 1859 р. // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
19. Записки Наукового Товариства ім. Шевченка. Львів, 1913.
20. Шашкевич М. Русское весілє описано через І. Лозинского в Перемишли – в типографії владичній гр. кат. 1835 // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004;
21. Русланка Дністровая. Будим, 1837.
22. Lewicki J. Odpowiedź na zdanie o wprowadzeniu Abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego. Przemysł, 1835.
23. Шашкевич М. Азбука і Abecadło. (Uwagi nad Rozrawą). O wprowadzeniu Abecadła polskiego do piśmiennictwa ruskiego. Przemysł, 1836.
24. Moser M. Das Ukrainische (“Ruthenische”) der galizischen Polen und Polonophilen zwischen 1830 und 1848/1849 // Zeitschrift für Slavische Philologie. 2003. B. 62. H. 2.
25. Центральний державний історичний архів України у Львові (ЦДІ АУЛ). Ф. 474 “Документи про польські повстання 1830–31, 1848 р.”. Op. 1.
26. Magocsi P.R. The Language Question as a Factor in the National Movement // Nationbuilding and the Politics of Nationalism. Essays on Austrian Galicia / Ed. A. S. Markovits and F.E. Sysyn. Cambridge (США), 1982.
27. Cięglewicz K. Rzecz czerwono-ruska 1848 roku przez Kaspra Cięglewicza. Lwów, 1848.
28. Нагаєвський В. Історія української держави двадцятого століття. Київ, 1994.
29. Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови). Київ, 2004.
30. Ueber den Vorschlag, das Ruthenische mit lateinischen Schriftzeichen zu schreiben / Im Auftrage des K.K. Ministerium fuer Cultus und Unterricht verfasst von J. Jirecek. Wien, 1859.
31. Рудницький Я. Мовна та правописна справа в Галичині. Львів, 1937.
32. Мойсеєнко В. Про одну спробу латинізації українського письма // “Ї”, незалежний культурологічний часопис. Львів, 1997. № 9.
33. Українсько-руський архів. Львів, 1911. Т. VII.

34. Гузар О.В. Правописна система Галичини другої половини XIX – початку ХХ ст. Львів, 1994.
35. Brock P. Ivan Vahylevych (1811–1866) and the Ukrainian National Identity // Nationbuilding and the Politics of Nationalism. Essays on Austrian Galicia. Cambridge, 1982.
36. Дедицкий Б. О неудобности латинской азбуки въ письменности руской. Вѣдѣнь, 1859.
37. Сімович В. Правописні системи М. Драгоманова (латиниця, драгоманівка). Прага, 1932.
38. Róźniak J. Pisny z dawnych lit. Lwów, 1877.
39. Позняк Я. Піснь народна // Українською музою натхненні (польські поети, що писали українською мовою). Київ, 1971.
40. Успенский Б.А. Николай I и польский язык (Языковая политика Российской империи в отношении Царства Польского: вопросы графики и орфографии) // Успенский Б.А. Историко-филологические очерки. М., 2004.
41. Франко І. Етимологія і фонетика в южноруській літературі. Коломия, 1894.
42. Павловський Ол. Грамматика малоросійського наречія // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
43. Павловский А. Грамматика Малороссийского наречия. СПб., 1818.
44. Русалка Дністровая // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
45. Максимович М. О правописанії Малоросійського языка: Письмо къ Основьяненко // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
46. Максимович М.А. Собрание сочинений. Киев, 1880. Т. III.
47. Pię kupy kazok. Napysau Spirydona Ostaszewskiego dla wesołego Mira. Wilno, 1850.
48. Pieśni Antoniego Szaszkiewicza wraz z jego życiorysem wydał Stefan Buszczyński. Kraków, 1890.
49. Франко І. Король балагулів. Антін Шашкевич і його українські вірші // Франко І. Зібрання творів у 50-ти томах. Київ, 1982. Т. 35.
50. РГІА.
51. Центральний державний історичний архів України (ЦДІ АУ). Ф. 707 (Канцелярия попечителя Київського учебного округа). Оп. 261. Ед. хр. 7.
52. Vulpius R. Language Policy in the Russian Empire: A Case of Translation of the Bible into Ukrainian, 1860–1906 // Ab Imperio. 2005. № 2.
53. Німчук В. Українські переклади Святого письма // Das Ukrainische als Kirchensprache. Українська мова в церквах. Wien, 2005.
54. Jaeger M. Działalność propagandowo-informacyjna w latach powstańczych (1794, 1830–1831, 1863–1864). Lublin, 2002.
55. Зайцев В.М. Социально-сословный состав участников восстания 1863 г. (опыт статистического анализа). М., 1973.
56. Knight N. Grigor'ev in Orenburg, 1851–1862: Russian Orientalism in the Service of Empire? // Slavic Review. Washington, 2000. Vol. 59. № 1.
57. Dowler W. Classroom and Empire: The Politics of Schooling Russia's Eastern Nationalities, 1860–1917. Toronto, 2001.
58. Geraci R. P. Window to the East. National and Imperial Identities in Late Tsarist Russia. Ithaca, 2001.
59. Werth P. W. At the Margins of Orthodoxy. Mission, Governance, and Confessional Politics in Russia's Volga-Kama Region, 1827–1905. Ithaca, 2001.
60. Миллер А. Империя и нация в воображении русского национализма // Российская империя в сравнительной перспективе. М., 2004.
61. Німчук В. Переднє слово // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
62. Смаль-Стоцький С., Гартнер Ф. Руска граматика // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
63. Драгоманов М. В справі реформи нашої правописі (1887) // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
64. Драгоманов М. Листи до І.в. Франка і інших: 1887–1895. Львів, 1908.
65. Чудацькі думки про українську національну справу, написав Михайло Драгоманов. Львів, 1892.
66. Marija maty Isusowa. Wirszy Tarasa Szewczenka z uwahamy M. Drahomanowa. Żenewa, 1882.

67. Повне видання творів Тараса Шевченка. Т. XVI. Бібліографія. Покажчик видань шевченкових творів та список бібліографічних праць про Шевченка / Зібрав і впорядкував В. Дороженко. Варшава; Львів, 1939.
68. Александровіч С.Х. Пуцявіны роднага слова: Проблемы развіцця беларускай літаратуры і друку другой паловы ХВХ – пачатку XX стагоддзя. Мінск, 1971.
69. Кніга Беларусі. 1517–1917. Зводны каталог. Мінск, 1986.
70. Turonek J. Waclaw Iwanowski i odrodzenie Białorusi. Warszawa, 1992.
71. Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union, 1923–1939. Ithaca; London, 2001.
72. Хвіля А. Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті // Українська мова у XX сторіччі. Історія лінгвоциду. Київ, 2005.
73. Більшовик України. 1933. № 7–8.
74. Москаленко А.А. Питання графічної нормалізації української мови після Жовтня. Принципи організації правопису української мови після Жовтня // Москаленко А.А. Історія українського правопису (радянський період). Одеса, 1968.
75. Пилипенко С. Odvertuj lyst do vsix, kto cikavyts'sja ciyeju spravoju // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
76. Червоний шлях. 1923. № 6–7.
77. Johansen M. Пристосування латиниці до потреб української мови // Червоний шлях. 1923. № 9.
78. Мусаев М. К. Белорусский язык // Опыт совершенствования алфавитов и орфографий языков народов СССР. М., 1982.
79. Скрипник М. Підсумки правописної дискусії // Історія українського правопису XVI–XX століття. Хрестоматія. Київ, 2004.
80. Постанова Народного комісара Освіти УССР від 5-го вересня 1933 р. про “Український правопис” // Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Київ, 2005.
81. Хвіля А. До видання нового українського правопису // Українська мова у XX сторіччі: історія лінгвоциду. Київ, 2005.



© 2006 г. А. М. БЕДА

“ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПИСЬМА ИЗ ГАЛИЦИИ”: СТРАНИЦА ИСТОРИИ ИДЕЙНОЙ БОРЬБЫ СЛАВЯНСТВА

В 1864 г. в Праге на немецком языке была опубликована брошюра “Патриотические письма из Галиции” [1]. Издание имеет эпиграф – “Дорогу истине!” – и представляет собой любопытное явление в сфере противостояния различных политических сил и идей в западном регионе проживания современного украинского этноса. Особенности идеиной борьбы в публицистике Австро-Венгерской империи в середине XIX в. неоднократно освещались (см., например [2. С. 1–52; 3. S. 189–192]). Тем не менее рассматриваемая работа малоизвестна отечественным исследователям. За рубежом она также является раритетом (см. [4. S. 28]). Анализ этой публикации, как представляется, с одной стороны, может помочь пониманию некоторых важных аспектов проблемы “состояния умов” в Галичине в 1860-е годы, течения экономической и социальной жизни, а с другой стороны, способен содействовать характеристике некоторых черт авторской трактовки такого общечеловеческого явления, как патриотическое сознание.

Брошюра, составленная из материалов разных авторов, увидела свет в весьма динамичный период мировой истории, когда в ряде стран происходили серьезные реформы. Структурные перемены не обошли стороной и империю Габсбургов, в состав которой входили тогда нынешние западноукраинские земли. Костяк бывших владений древнерусского Галицко-Волынского княжества попал под власть австро-венгерской монархии в результате раздела Польши в 1772 г. После поражения Краковского восстания 1846 г., имевшего целью восстановление польского государства, под скипетр венских правителей перешел и Краков вместе с прилегающей областью (см. [5. С. 8; 6. С. 84]). Была создана объединенная провинция, поделенная внутри в 1854 г. на две административные области: западную – польскую с центром в Кракове и восточную – собственно галицкую с центром во Львове (подробнее см. [7. Р. 3–5]). Официальное название провинции – “Королевство Галиции и Лодомерии, с великим княжеством Краковским и княжествами Освенциомом и Затором” – отражало исторические судьбы составлявшего ее населения (см. [8. С. 1–13; 9. С. 87–98]). В 1860 г. административное деление провинции на две части было упразднено; административным центром являлся Львов (см. [10. С. 6, 215, 242, 261]). Вся охарактеризованная территория и понимается в рассматриваемой брошюре как Галиция.

Беда Анатолий Маркович – канд. ист. наук (Москва).

Естественно, бурные события 1860-х годов существенно отразились на содержании анализируемой публикации и обусловили многие ее особенности. Империя Габсбургов в это время находилась в состоянии глубокого государственного кризиса. Серьезные проявления национального самосознания многих входивших в ее состав народов, в первую очередь венгров, настойчивые требования демократическими кругами конституционной реформы уже не могли игнорироваться властью. На рубеже 1850–1860-х годов император был вынужден несколькими высочайшими актами даровать своим подданным Конституцию (см. [4. С. 11–13]). Политика Вены предусматривала развитие демократических начал в государственном устройстве национальных окраин, в том числе Галиции. Однако межэтническая обстановка в ней складывалась не в пользу восточнославянского населения (см. [6. С. 158–160; 9. С. 100, 129, 130]). Существенным образом отразились на Галиции и последствия поражения польского восстания 1863 г., ведь западная половина провинции с преобладающим польским населением была центром предыдущего аналогичного выступления, а в восточной польский этнический компонент также был значительным. Те участники восстания, которые избежали жестокой участи погибших и плененных, расселились в качестве изгнанников по европейским странам, в том числе в Австрии, в первую очередь в Галиции, занимаясь там активной политической агитацией.

Таковы были кратко охарактеризованные общие реалии, при которых и увидела свет интересующая нас брошюра. Обращают на себя внимание выходные данные этой публикации: Прага, издательство Эм. Петрика, напечатано у доктора Эд. Грега в 1864 г. Указанные сведения позволяют говорить о многом. Дело в том, что в рассматриваемое время Чехия как часть Австрийской империи играла весьма своеобразную роль в жизни государства Габсбургов. С одной стороны, со времен императрицы Марии Терезии (1717–1780) Чехия являлась поставщиком кадров чиновничего сословия. Отсюда имперская бюрократия пополнялась как этническими немцами, так и онемеченными чехами, которые направлялись в различные провинции государства, в том числе в Галицию (см. [10. С. 243]). Публикация здесь брошюры на немецком языке предположительно говорит о том, что ее издатели учитывали настроения проавстрийских чиновничих кругов. С другой стороны, Прага являлась определенным центром славянского движения, например, в 1848 г. тут проходил Славянский конгресс. Развивались чешско-галицкие связи, главным образом литературные (см. [11. С. 151; 12. С. 9, 10; 13. С. 79; 14. С. 370; 15. Р. 28–29; 16. Р. 258, 272–273, 308]). В первой половине 1860-х годов политические лидеры чешской буржуазии были особенно увлечены мечтой о славянской автономии в составе империи Габсбургов. Эта идея выражалась в пропаганде такого течения общественной мысли, как австроСлавизм (см. [17. С. 104–168; 18. С. 286]). Эдуард Грек – возможный инициатор и редактор рассматриваемой брошюры – вместе со своим братом Юлием в указанные годы являлся активным политическим деятелем, впоследствии одним из руководителей младочехов (см. [19]). Его австроСлавистская ориентация на момент издания брошюры вполне очевидна, что в совокупности с приведенными данными, а также фактами, о которых будет сказано ниже, позволяет допустить, что пражская брошюра 1864 г. является памятником австроСлавизма.

По своей структуре “Патриотические письма из Галиции” подразделяются на краткое предисловие издателя, введение, которое, впрочем, не имеет такого заголовка, и пять писем-статей, помеченных только римскими цифрами. Назва-

ния отдельных писем помещены внутри статей, снабженных редакторской преамбулой, названия других – отсутствуют, хотя они, вероятно, изначально существовали. Так, в предисловии указано, что эти письма уже были опубликованы в пражской газете “Politik”, вышедшей на немецком языке. Поскольку издатель брошюры так или иначе опустил первоначальные заголовки публикаций, то ясно, что, с его точки зрения и исходя из целей брошюры, они разрушили бы общую структурную целостность рассматриваемого издания. А именно на такой целостности издатель и настаивает, так как в предисловии подчеркивает, что представленный сборник писем является “*программой* истинно патриотических кругов Галиции” [1. S. 4] (курсив мой. – А.Б.) Отказ публикатора от употребления первоначальных заголовков и развернутые преамбулы в начале каждого письма-статьи свидетельствуют о существенной обработке первоначальных корреспонденций. Поэтому, на наш взгляд, пражскую брошюру 1864 г. можно рассматривать в качестве самостоятельного целостного памятника. Данное обстоятельство делает возможным прибегнуть к следующему методу анализа: не обращаться к поиску газетных “протографов” публикаций, а на основе рассмотрения расширенных издателем текстов писем сконцентрировать внимание на целевых установках каждой из структурных частей брошюры. Это, в свою очередь, позволит четко, в компактном виде представить композицию всего сборника и его ключевые идеологемы.

В предисловии издатель характеризует политическую ситуацию в Галиции через год после польского восстания 1863 г. и подчеркивает, что единственная поддержка для демократических сил Галиции – это их пражские союзники [1. S. 3] (см. также [20. С. 149–151]). При этом брошюра адресована неким туманно обозначенным “самым отдаленным кругом читателей”. Ключевым, указывающим на цель всей публикации выступает тезис: “...Австрия должна выполнить в Галиции благородную миссию” [1. S. 4].

Место следующей части брошюры в структуре публикации никак не обозначено – ни заголовком, ни номером. По очередности в тексте публикации ее можно рассматривать как введение, таковым мы и будем далее эту часть именовать. Сначала рассматривается вопрос о роли общественного мнения и прессы в исторических событиях, давних и современных изданию брошюры [1. S. 5]. Затем характеризуется польская трагедия 1863 г. и ее воздействие на Галицию [1. S. 5–7]. Поскольку во введении сказано, что автора волнует исключительно позиция немецких журналов по отношению к происходящим событиям, а самый существенный блок данных относится к польской ситуации, то ключевую тему введения можно обозначить следующим образом: немецкая пресса и польский вопрос.

Материал, представленный в брошюре под цифрой один, начинается с обращения к немецкой прессе и немецкой публике [1. S. 9–11]. Далее идет развернутый анализ социально-экономического состояния Галиции в рамках общей ситуации в Австрийской империи после отмены барщины в 1848 г. (подробнее об этом см. [7. С. 184]). Автор исследует взаимоотношение двух экономических частей владений Габсбургов – западной и восточной (куда входила Галиция) и приходит к самым негативным выводам относительно хозяйственной и социальной судеб галицийской территории [1. S. 11–14]. Таким образом, содержание этой публикации сводится к проблеме: немецкая пресса и результаты отмены барщины в Галиции.

Часть брошюры, обозначенная цифрой два, в принципе продолжает эту же тему. Отличия состоят в следующем. Адресат материала не указан. Экономическая политика европейских держав в Галиции, а также курс западной части империи по отношению к восточной, главным образом – галицийской, охарактеризованы значительно жестче [1. S. 16–17]. Следует отметить, что экономический гнет Галиции как со стороны ведущих стран Европы, так и самой Вены являлся политикой традиционной (см. [10. С. 109–110; 20. S. 254–255; 22. S. 14–16; 22. С. 24–26]). Кроме этого, в статье-письме отмечаются особенности местного менталитета и предположительное направление выхода из кризиса [1. S. 17–18]. Тем самым корреспонденция замыкается в рамках темы: экономический гнет Запада, его последствия и задачи галицийцев.

Третья часть “Патриотических писем из Галиции” также не имеет указания на адресата материала. При этом в ней вполне логично продолжено развитие тем, затронутых в предшествующих частях. Однако если экономические взаимоотношения между отдельными территориями империи охарактеризованы столь же резко и однозначно, как в указанном выше материале, то тема негативных явлений в менталитете галицийского общества обрисована подробнее и звучит сильнее (см. [1. S. 18–22]). Это позволяет определить следующую стержневую идею этой статьи: налоговое давление Запада ведет к необратимой апатии населения и разброду умов.

Следующая часть пражской брошюры в качестве преамбулы содержит уже привычные обращения издателя к немецкой публике и прессе [1. S. 23]. Имеется указание на несовершенство государственно-конституционных механизмов империи [1. S. 23]. Затем приводится текст газетной публикации 1861 г. с указанием, что ее материал в целом сохранил свою актуальность. Начинается эта часть с мотива, уже звучавшего в рамках темы экономического состояния Галиции, непрекращающихся страданий галицийцев [1. S. 23–24]. Однако повторяется только сам лейтмотив; он выступает в качестве связки-перехода к иной теме, теме политического кризиса в рассматриваемой провинции австрийских владений. Освещаются различные точки зрения на состояние галицийского общества, что сопровождается традиционными апелляциями к немецкой прессе [1. S. 24–25]. Сам автор придерживается, с одной стороны, проавстрийских настроений, с другой – пропольских. Наиболее значительная часть объема статьи посвящена критике пророссийской позиции [1. S. 26–29]. Употребляемая при этом аргументация позволяет резюмировать содержание четвертой части брошюры следующим образом: в Галиции интеллигенция – польская, цивилизованная, она вместе с немецкой общественностью против темного русского панславизма.

Заключительная часть брошюры после преамбулы содержит развернутый план вывода Галиции из критического состояния. Это – проект Положения об общинах для Галиции, подготовленный для рассмотрения правительственные инстанциями [1. S. 3–42]. Проект состоит из констатирующей части, в которой характеризуются различные аспекты социального, экономического, интеллектуального и ментального состояния Галиции, а также из постановляющего раздела, где подробно описываются предлагаемые изменения сельских общин Галиции с целью решительного оздоровления региона. Пятая часть брошюры имеет и краткое заключение, где в который раз сформулировано обращение к немецкой журналистике, окрашенное в австрийские патриотические тона [1. S. 42]. Таким образом, цель этой части состоит в том, чтобы убедить немецкую

часть общества в том, что укрепление сельских общин в Галиции – общее патриотическое дело.

На мой взгляд, анализ структурных частей брошюры подтверждает высказанное выше предположение о том, что ее составители принадлежали к чешским политическим кругам, пытавшимся в тот момент установить союз с австрийской бюрократией – опорой империи Габсбургов. Укрепляет это убеждение и то обстоятельство, что некоторые из статей не сразу были написаны по-немецки. Так, в начале пятой части содержится почти дословная выдержка из концовки второй части. Сравним: “Der sociale Quälgeist ist es, der hier wüthet und eine Consolidirung der Nation nicht zulässt; dem zu Lieb bleibt das galizische Landvolk auf jener niedrigen Culturstufe, die keine Bedürfnisse kent und in seiner Naivität nicht ahnt, wie allmälig ihm seine Rechte auf die Cultur, seine volkswirtschaftliche Zukunft unter den Füssen weggezogen werden” [1. S. 17–18]; “Der sociale Quälgeist ist es, der hier wüthet und eine Consolidirung der Nation nicht zulässt; in Folge dessen verbleibt das galizische Landvolk auf jener niedrigen Culturstufe, auf der es keine höheren Bedürfnisse kennt und in seiner Naivität nicht ahnt, wie ihm allmälig seine Rechte auf die Cultur, seine volkswirtschaftliche Zukunft unter den Füssen weggezogen werden” [1. S. 30].

Обращает на себя внимание то, что цитирование во втором случае не вполне точное, а характер разнотений наводит на мысль, что в обоих вариантах приведенные сентенции переводились на немецкий язык отдельно, каждый раз несколько отлично друг от друга, но с полным сохранением смысла и структуры высказывания. Некоторые абзацы брошюры, надо думать, были сразу написаны по-немецки: как вытекает из сказанного выше, они адресованы влиятельным австрийским политическим кругам. В подтверждение этого приведем выдержку из окончания пятой части, являющегося своеобразным заключением всего сборника: “...Мы желаем, чтобы немецкая журналистика снизошла до обсуждения наших стремлений, наших принципов; впрочем, мы намеренно пишем по-немецки, на языке, который нам чужд и которым мы владеем только с трудом, – в надежде быть понятыми теми кругами, которые, к сожалению, говорят о нас однобоко и которые бесспорно пользуются значительным влиянием на руководящие инстанции” [1. S. 42].

Внешняя критика “Патриотических писем из Галиции” позволяет составить предварительное представление о характере трактовки авторами сборника различных сторон галицийской ситуации. Одна из граней положения в Галиции, безусловно, должна была подвергнуться существенному искажению в силу выявленной политической заданности брошюры. Это – идеальное состояние местного общества. Материалы пражского сборника содержат данные о трех направлениях “умственного движения” в этой провинции Австрийской империи.

Уже с первых страниц брошюры особо дают о себе знать пропольские настроения. Так, в начале предисловия читаем: “Ужасное поражение (восстания 1863 г. – А.Б.) нанесло урон Польше и всем благородным чувствам, которые для человека являются весьма ценными и которые должны защищать мир от господства зла... Это выглядит потрясающим и требует много мужества для того, чтобы перенести эту беду; посмотрите направо – посмотрите налево, всюду мы видим безнадежность положения” [1. S. 3]. Автор введения подхватывает эту тему: “Как быстро заполнялись тюрьмы, какие только зрелые мужчины не вытянули самый жестокий жребий, какие только корифеи польского интеллекта не были надломлены!” [1. S. 6].

Сами письма-статьи, составляющие брошюру, дают основной материал для авторской характеристики пропольского движения в Галиции. Например, в первом письме подчеркивается “достойная признания деятельность князя Леона Сапеги” на галицийской территории ([1. S. 11]; о нем см. [20. С. 222, 224]). Особенno много утверждений о пропольских настроениях, в том числе в восточной части провинции, содержится в помещенном в сборнике четвертом письме. Аргументация автора письма состоит в следующем: 1) интеллигенция галицийцев имеет национальное образование, 2) галицийцы “добровольно приняли польское образование и польские обычай”, польская литература – их достояние, 3) в Галиции “народ уже гораздо больше приспособился к польскому языку, а к латинским европейским буквам более восприимчив и предрасположен, чем к средневековым кириллическим, которые уважает только из почтения или как сугубо аристократические, с которыми он не имеет ничего общего”, 4) интеллигенция Галиции «сама с гордостью сформулировала прекрасное понятие: “по рождению рутен (русин. – А.Б.), по национальности поляк”» – следовательно, национальность ей не навязывалась, а ее нужно рассматривать в качестве естественного внутреннего стремления, и хотя бы поэтому и из уважения данное добровольное соединение является священным», 5) галицийский “народ никогда не рассматривал свою интеллигенцию в качестве чужаков или вовсе в качестве пришлых варягов”, 6) галицийская интеллигенция является национальной [1. S. 26–29].

Однако приведенная аргументация (о ее идейных истоках см. [10. С. 295–296]) не выдерживает критики. Несколько столетий польского господства над нынешними западноукраинскими землями естественно заставили образованные слои галицийцев в значительной своей массе, в том числе под угрозой насилия, отказаться от национальных культурных традиций и принять польскую культуру. В результате население городов восточной части провинции являлось в подавляющем большинстве польским, говорило исключительно по-польски, как и большинство местного сельского духовенства и помещиков (подробнее см. [10. С. 185–187; 20. С. 153–155; 8. С. 82–85, 88–90, 175–187, 205–206, 217; 6. С. 22–24, 69, 72–74, 108, 144; 9. С. 22–23, 70, 100–106]). Попытки же галицийцев отступить от польской образованности в сторону традиционной подвергались яростной критике. В последующие годы полонизация восточной части Галиции продолжалась, в частности путем настойчивого внедрения польских историко-культурных праздников (см. [24. S. 112]). Несмотря на частичную неадекватность статистических данных, в целом они свидетельствуют о неуклонном росте числа польскоговорящих жителей (см. [25. S. 82–84]). Представляется, что утверждениями о “добровольности” пропольских настроений в Галиции авторы брошюры последовательно искажают ситуацию путем субъективного отбора фактов и их произвольной интерпретации.

Среди замечаний, предваряющих собрание писем-статей, вошедших в состав исследуемой публикации, в завуалированном виде сформулирована стержневая характеристика авторского отношения к пророссийской позиции части общественных деятелей Галиции (об этом см. также [26. С. 43–72]). Примечательно, что ни в предисловии, ни во введении Россия при освещении политики империи Романовых не называется. Стилистические приемы авторов этих частей пражского издания призваны воздействовать на подсознание читателей. Деятельность Российского государства трактуется здесь через призму польского восстания 1863 г. Посредством привлечения внимания к оценке его результатов чита-

тель в предисловии предостерегается от пророссийской ориентации, ведь из-за жестких мер Александра II “всеобщая история и философия оказались направленными по ложному пути, – религия и мораль должны были уступить место мрачным принципам!” [1. С. 3]. А во введении эта тема дополняется указанием на “бесощадную строгость судей” в России по отношению не к самим восставшим, а к людям невинным, тем, “что оказались рядом” [1. С. 6–7]. Подобного рода высказывания, оброненные без указания субъекта политических действий, закладывают специфические основы последующего освещения пророссийских настроений в среде галицийской общественности.

Эта проблема детально разбирается в четвертой части “Патриотических писем из Галиции”. Автор статьи начинает с в общем-то справедливых упреков в адрес таких общественных деятелей, как М.П. Погодин и С.С. Громека (о них см. [10. С. 209–217, 270; 20. С. 31–32, 51, 368; 6. С. 155; 27. С. 760]), по мнению которых жители восточной части Галиции являются “стопроцентными московитами и превосходят в русской лояльности и сибирской услужливости Иркутскую губернию” [1. С. 24]. После такого, казалось бы, верного критического замечания в адрес “промосковской” позиции сторонники России характеризуются в статье как “маленькая группа корыстолюбцев, которая представлялась говорящей от имени русинского народа” и к тому же стремилась “переполнить меру несчастий” галицийского населения [1. С. 25]. Далее в брошюре поясняется, что имеется в виду под словами о “корыстолюбстве” носителей пророссийских настроений – это стяжательство должностей, титулов и орденских лент [1. С. 29]. От российского императора, добавим, а не от австрийского монарха, стремления к чему нельзя исключить из мотивации действий представителей других точек зрения. Столь же двусмыслен приписываемый сторонникам ориентации на Россию “изощренный макиавеллизм”, который “ведет к братоубийству, анархии или к московитизму и сибирскому кнуту” [1. С. 29]. Однако в первой части брошюры “макиавеллизм” описывается как неотъемлемая черта деятельности проправительственных кругов самой Австрийской империи [1. С. 10]. Тем самым обвинения в цинизме одной политической силы нейтрализуются аналогичным обвинением в адрес противостоящей.

Вместе с тем трактовка пророссийских взглядов части галицийцев не лишена и объективности. С одной стороны, в четвертой части брошюры подчеркивается определенная идеальная узость размышлений данной общественной группы, выражающаяся в сугубо этнографических и филологических рассуждениях архаического порядка [1. С. 28], когда наиболее весомая аргументация обращена к древнерусскому единству домонгольского времени, а экономические, социальные, политические, культурные, идеальные и ментальные реалии настоящего остаются за пределами мировоззренческих взглядов и настроений. С другой стороны, критик “промосковской” точки зрения указывает на одну важную особенность умонастроения россиян, настораживающую жителей соседних стран. По его мнению, настроенные благожелательно по отношению к России должны преодолеть любовь к своим фантазиям вместе со всей интеллигенцией русского народа, которая охвачена отчаянными идеями все достижения прогресса непременно приносить в жертву и прымиком отправлять в руки теократии или охлократии [1. С. 28].

Существенной гранью авторской характеристики деятельности пророссийски настроенных кругов Галиции является освещение их реакции на польские черты в культуре восточной части этой австрийской провинции того времени.

Суть этой реакции выражалась в стремлении повернуть интеллигенцию восточных галицийцев от польских привычек и идеалов к бытовым и мировоззренческим приоритетам, изначальным историческим корням, которые присущи рядовому населению этой части провинции, полностью, а не частично приблизить ее к нуждам этого населения и сплотить восточногалицкое общество в единое целое. Главной задачей при этом считалось разрушение как языкового, так и культурного барьера в целом между народной массой и образованным сословием, имевшим польскую образованность. Это стремление вызывает наибольший гнев публициста [1. S. 26–27].

Впрочем, в чем-то надо отдать должное автору этой части публикации. Ближе к окончанию письма-статьи он признается, что для резкого неприятия всего польского у жителей Восточной Галичины есть веские основания. Имеются в виду дворянское высокомерие, заносчивость и гибельная для государства свое-нравность поляков [1. S. 29]. Однако все эти оговорки не мешают автору статьи, явившейся костяком четвертой части брошюры, в заключение еще раз подчеркнуть, что необходимо отбросить болезненные фантазии, связанные с надеждой на Россию, так как пророссийская ориентация ведет к деспотизму и погружению во мрак панславизма [1. S. 29] (о последнем см., например: [28. S. 275]). Таким образом, авторская характеристика пророссийской позиции некоторых галицийцев представляет собой смесь реальных фактов и уязвимых для критики сентенций.

Наконец, публикаторы “Патриотических писем из Галиции” формулируют еще одну систему взглядов, выступая при этом от лица галицийского общества и используя его патриотические настроения. Имеется в виду австрославистская позиция. Анализ брошюры показывает, что именно она является главным лейтмотивом сборника. В чем же состоит обозначенная в статьях брошюры австрославистская точка зрения, в чем ее специфика, каково в ней соотношение истины и лукавства?

Как говорилось выше, уже в предисловии указывается, что “Австрия должна выполнить в Галиции благородную миссию” [1. S. 4]. Отметим, что сама же Вена на определенном этапе видела свою задачу в постепенном выдавливании из Галиции местных жителей путем переселения сюда немецких крестьян, ремесленников и т.д. (см. [29. S. 8–34]). Однако идея цивилизаторской роли империи повторяется в начале последней статьи сборника в виде замечания: “Едва ли, однако, входит в миссию Австрии позволить этой земле погрязнуть в социальных бедах” [1. S. 30]. В вопросительной форме та же мысль выражена в последних строках первой статьи пражской публикации: “Неужели для Австрии невозможно осилить тот дуализм в ее внутренних делах, что так снижает ее высокий престиж? Мы полагаем, что на вопрос об этой возможности следует ответить утвердительно, и желаем от всего сердца, чтобы страна смогла скорее укрепиться и не показывала больше миру лик Януса, который выставляет для обозрения одной своей половиной роскошные привлекательные формы сегодняшней цивилизации, другой, напротив, убожество и нищету” [1. S. 14].

Авторы брошюры пытаются выяснить, что же мешает Австрии в осуществлении “благородной миссии” в Галиции. Называется несколько виновников. Один из них – местное чиновничество: “...Черствый неповоротливый бюрократизм нигде не пустил, пожалуй, таких глубоких, разветвленных корней, и если он дал в другом месте главный повод к недовольству и тоске по либеральным реформам, то тут он наполняет возмущением и лишает любых надежд, в то вре-

мя как здешняя бюрократия вопреки всем указам цепко держится за привычную волокиту и принципиально предубеждена против национальных интересов” [1. S. 24].

Другой виновник антигуманной политики Вены по отношению к Галиции, по мнению авторов, это немецкоязычная австрийская пресса. Упреки в ее адрес рассыпаны по всей брошюре. Немецкоязычные газеты и журналы взяли за правило “переменчивость представлений и принципов”, потеряли всякую совесть, совершают неожиданные “повороты и зигзаги”; полностью зависят от узких частнособственных интересов своих хозяев; не особо вникая, односторонне и необъективно показывают и обсуждают галицийскую ситуацию, при этом делают это в условиях Конституции не лучше, чем во времена абсолютизма; прессы склоняются от задачи информировать о безотлагательных нуждах восточных провинций империи; не испытывает к Галиции никаких симпатий [1. S. 5–14]; развлекается бедствиями галицкого населения; особенно усердствуют при этом корреспонденты газет “Augsburger Allgemeine (Zeitung?)” и “Wiener Fortschrittes” [1. S. 24–25]; немецкоязычная журналистика не снисходит до обсуждения устремлений и принципов галицийцев [1. S. 42].

В результате такой деятельности прессы влиятельные немецкие круги империи Габсбургов придерживаются крайне неадекватных взглядов на ситуацию в Галиции. Уже в начале первой статьи отмечается, что долгое время говорящая по-немецки часть населения Австрии не имела объективной возможности ознакомиться с положением дел в этой имперской провинции [1. S. 9]. В преамбуле четвертой статьи брошюры в связи с этим подчеркивается: “Для нас желательно, чтобы немецкая публика была ознакомлена с галицкой ситуацией, чтобы она имела правду перед глазами, имела ясность о бесчисленных подозрениях, которые столь много навредили Галиции. Наши перспективы и желания могут вызвать только участие и признание, которые совместимы с объединением различных интересов нашей монархии” [1. S. 23]. В конце брошюры выражается уверенность, что представителям галицкой общественности удастся достичь взаимопонимания с влиятельными государственными кругами в Вене, которые пока еще оценивают ситуацию в Галиции однобоко [1. S. 42].

Дальновидные правительственные акты империи, которую авторы брошюры стремятся поддерживать во всех начинаниях, представляются как надежда галицкой общественности [1. S. 25] (см. также: [9. С. 71–89]). В первую очередь от желания правительства зависит решение всех проблем галицийцев, а именно – привести в действие те средства, которые позволят “сделать восточные земли монархии сопричастными к культуре” западных провинций [1. S. 22].

Когда среди высказываний такого порядка встречаются упоминания о патриотизме авторов пражского сборника, поневоле задаешься вопросом: о каком патриотизме идет речь? о чувстве любви к многонациональной Австрии, с правительственными благодеяниями которой связываются далеко идущие надежды, или о любви к малой родине – восточной части Галиции, раздираемой противоречиями? И хотя оброненные ненароком замечания о патриотизме, взятые в узком контексте [1. S. 10, 18], свидетельствуют о втором, тем не менее ощущение двойственности позиции и авторов писем, и публикаторов брошюры сохраняется. В этом и заключается секрет воздействия на подсознание читателей. В результате вырабатывается представление о полной согласованности в позиции издателей местного галицкого и официального австрийского патриотизма. Это представление превращается в уверенность, если совокупность упоминаний о патриотизме воспринимать в контексте всей брошюры в целом.

Отдельно следует остановиться на оценке той грани рассматриваемой австрославистской позиции, которая включает в себя характеристику означенной любви к малой, галицийской родине. В брошюре говорится о том, что взгляды некоторых последовательных патриотов зовут в феодальные времена [1. S. 31]; данная ретроспективность местного патриотизма отнюдь не приветствуется авторами. Возможно, что именно она является причиной ситуации, когда патриоты Галиции попадают под град насмешек [1. S. 24]. Согласно точке зрения авторов сборника патриотизм должен быть обращен в будущее, быть связан со стремлением направить народ на путь интенсивного цивилизационного развития [1. S. 36]. При этом патриотизм галицийцам необходим для того, чтобы вырваться из тисков кризисной общественной ситуации. Так, в рассматриваемое время в аграрной Галиции существовало два типа наиболее распространенных в сельской местности хозяйств: крупные помещичьи и мелкие крестьянские (подробнее см. [8. С. 93–97]). Противоречия самого различного характера создавали между ними непреодолимую пропасть. Это фактически раскалывало страну на два лагеря, между которыми вбивала клин австрийская бюрократия. Объединения населения Галиции в такой ситуации, по замыслу авторов, нужно было добиваться с помощью развития патриотического сознания жителей провинции [1. S. 31]. Данная мысль звучит в брошюре неоднократно. В другом месте о задачах галицийцев пишется следующее: “Однако трудности, которые противостоят им, велики и настолько разнообразны, что нужны поистине патриотические деяния, чтобы не ущемлять различные интересы и сплотиться для возвышенной цели” [1. S. 18].

Весьма любопытна конкретная формулировка тех задач населения Галиции, которые связываются с его патриотическим сознанием: первые впечатления, которые человек здесь получает, должны наполнять его мужеством и уверенностью, удерживая на прочной правовой основе, прививать ему уважение к законам и общественному порядку, что явится самым надежным обеспечением полноценной жизни и соединит понятие родины с теплым искренним патриотизмом [1. S. 31]. С помощью развития у галицийцев идей и чувства любви к родине авторы сборника надеются выработать у них, во-первых, высоконравственное поведение и ощущение стабильности, а во-вторых, сформировать умение жить в “правовом поле”. Именно решение этих конкретных задач является, по мысли публикаторов брошюры, для галицийцев первоочередным. Отметим, что в строках, завершающих текст брошюры, еще раз указывается главный ракурс подхода ко всей галицийской проблеме в целом: “Это освещение темы как результат поистине патриотического размышления в бескорыстном стремлении привлечь внимание к действительным потребностям страны” рекомендуется представителям высших австрийских инстанций с целью официального рассмотрения правительственными кругами Вены [1. S. 42].

Рассмотренный комплекс материалов позволяет утверждать, что приведенные выше сентенции являются составной частью австрославистской позиции определенных политических кругов империи Габсбургов. Спецификой ее трактовки является то, что патриотическая позиция собственно галицийцев практически вписывалась в рамки проавстрийской идеальной ориентации.

Возникает оправданный вопрос: является ли рассматриваемая брошюра исключительно публицистическим памятником, представляющим интерес только для истории журналистики, или пражское издание 1864 г. может быть использовано в исторических исследованиях более широкого профиля? Думается, что

можно ответить положительно на вторую половину этого вопроса. Критический подход позволяет выявить вполне объективные сведения для изучения идеиной борьбы в общественной среде непосредственно Галичины. Представленная фактография хозяйственной жизни интересующей нас части провинции Австро-Венгерской империи весьма обширна. Брошюра содержит важные объективные данные о ментальности галицийцев. Наконец, все эти комплексы материала составителями брошюры были дополнены и преподаны в определенной последовательности и трактовке в соответствии с австрославистской системой идей, разработанной чешскими политиками середины XIX в. в интересах своей нации. Это обстоятельство превращает брошюру из обычного сборника газетных статей в целостное произведение – памятник идеиной борьбы славянства, свидетельство попыток общественных деятелей Чехии возглавить определенные круги политически активных галицийцев.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Patriotische Briefe aus Galizien. Prag, 1864.
2. Попов Н. Австрийская публицистика перед введением дуализма // Славянский ежегодник: Сб. статей по славяноведению. Киев, 1878.
3. Z dziejów odrodzenia politycznego Galicyi. 1859–1873. Warszawa, 1905.
4. Müller S. Schriftum über Galizien und sein Deutschtum. Marburg (Lahn), 1962.
5. Василевский Л.М. Австро-Венгрия. Политический строй и национальные вопросы. СПб., 1908.
6. Филевич И.П. Из истории Карпатской Руси. Очерки галицко-русской жизни с 1772 г. (1848–1866). Варшава, 1907.
7. Himka J.-P. Galicia and Bukovina: A Research Handbook About Western Ukraine, Late 19th and 20th Centuries. Edmonton, 1990.
8. Василевский Л.М. Современная Галиция. СПб., 1900.
9. Ястребов Н.В. Галиция накануне Великой Войны 1914 года. Пг., 1915.
10. Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под владением Австрии. Львов, 1895. Ч. 1.
11. Feldman W. Stronnictwa i programy polityczne w Galicyi. 1846–1906. Kraków, 1907. Т. 1.
12. Колесса О. Погляд на історію українсько-чеських взаємин від Х до ХХ в. Прага, 1924.
13. Гонтар П. Українсько-чеські літературні зв'язки в XIX ст. Київ, 1956.
14. Сто п'ятдесят років чесько-українських літературних зв'язків. 1814–1964. Науково-бібліографічний збірник. Прага, 1968.
15. Rudnytsky I.L. The Ukrainians in Galicia Under Austrian Rule // Nationbuilding and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia. Cambridge (Mass.), 1982.
16. Magocsi P.R. Bibliographic Guide to the History of Ukrainians in Galicia // Nationbuilding and the Politics of Nationalism: Essays on Austrian Galicia. Cambridge (Mass.), 1982.
17. Ратнер Н.Д. Программа и тактика чешской буржуазии в 1860–1867 гг. // Ученые записки Ин-та славяноведения. М., 1956. Т. XIV.
18. Koźmian, St. von. Das Jahr 1863. Polen und die europäische Diplomatie. Wien, 1896.
19. Bratři Grégové a česká společnost v druhé polovině 19. století / Sest. P. Vosáhlíková a M. Řepa. Praha, 1997.
20. Свистун Ф.И. Прикарпатская Русь под владением Австрии. Львов, 1896. Ч. 2.
21. Kalinka W. Galicia i Kraków pod panowaniem austriackiem. Kraków, 1898.
22. Wyka K. Teka Stańczyka na tle historii Galicji w latach 1849–1869. Wrocław, 1951.
23. Трушевич С.М. Суспільно-політичний рух у Східній Галичині в 50–70-х роках XIX ст. Київ, 1978.
24. Galos A. Obchody rocznicowe na prowincji zaboru austriackiego // Acta Universitatis Wratislaviensis № 1532 (Seria Historia. CXI). Wrocław, 1993.
25. Mark R.-A. Galizien unter österreichischer Herrschaft: Verwaltung – Kirche – Bevölkerung. Marburg, 1994.
26. Пашаева Н.М. Очерки истории русского движения в Галичине XIX – XX вв. М., 2001.
27. Энциклопедический словарь / Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. СПб., 1893. Т. IX “А”.
28. Szuski J. Die Polen und Ruthenen in Galizien. Wien; Teschen, 1882.
29. Enders J. Die deutschen Siedlungen in Galizien. Wien, 1980.



© 2006 г. А. В. ПОРТНОВ

НАСЕЛЕНИЕ ЗАПАДНЫХ ОКРАИН РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ПОЛЬСКИХ МЕМУАРАХ ПЕРВОЙ ТРЕТИ XIX ВЕКА

Пространство земель, которые вследствие разделов Речи Посполитой 1772, 1793 и 1795 гг. были включены в состав Российской империи, в польской традиции обозначаются как “кресы”, в российской – как “западные окраины”, в украинской – как “Правобережная Украина”, в белорусской и литовской – как соответствующие названия современных государств или “Великое княжество Литовское”. Каждой из национальных традиций свойственны собственные схемы и стереотипы описания этих земель, которые как правило проецируют национально-политические реалии середины XIX–XX вв. на более ранний период и концентрируются на “своей” памяти и “своей” правоте.

На момент разделов Речи Посполитой существовала сословно ограниченная (как и все политические сообщества Европы XVIII в.) “шляхетская нация” – на-дэтническое сообщество с мифом отдельного от остальных сословий происхождения (речь идет о сарматизме) [1]. При этом общность языка и даже религии не приближали этнически польского крестьянина к шляхтичу (см. [2. S. 42–90]). В то же время, в представлениях российских элит, и, особенно, в политической практике империи конца XVIII – начала XIX в. акценты на тождестве православной веры, а тем более этнического происхождения, распространенные с середины XIX в., прежде всего выполняют функцию идеологического обоснования вмешательства во внутренние дела Речи Посполитой (яркая иллюстрация – тема защиты диссидентов, т.е. людей некатолического христианского исповедания в Польше [3. С. 321–356]). В целом, даже несмотря на опыт наполеоновской кампании, до 1830-х годов, ознаменованных польским восстанием, подход России к оценке ситуации западных губерний проистекал из сословно-династической природы империи, поэтому шляхта была прежде всего помещиками, а не поляками. Этнический состав населения практически не интересовал официальный Петербург (даже после восстания 1830 г. в имперской политике сословный подход не сразу уступает место национальному).

Именно сословная природа российской политики, а также своеобразное Проповеданию представление о государственных нациях как субъекте политического бытия в значительной мере определили реакцию шляхты на исчезновение

Портнов Андрей Владимирович – канд. ист. наук, научный сотрудник Института украиноведения им. И. Крипакевича НАНУ.

Статья написана в рамках проекта Die Teilungen Polens. Teilungserfahrung und Traditionsbildung при Тrierском университете, поддержанном Volkswagen Stiftung.

ние Речи Посполитой с политической карты. Польская историография традиционно оценивала эту реакцию с позиций политического морализаторства (ср. [4]). Констатируя в целом пассивное восприятие разделов и стремление шляхты (особенно, “кресовой”) приспособиться к новому политическому контексту, историки оценивали их как свидетельство “упадка, унижения и деморализации польских политических элит”, а также как следствие нехватки патриотизма и “низкого общего уровня образования” [5. S. 231–233; 6. S. 15]. При этом растиражированную фразу магната Щ. Потоцкого из его письма (январь 1796 г.) к Северину Ржевускому: “Я уже не говорю о былой Польше и поляках. Исчезло уже сие государство и само имя, как уже исчезало столько других в истории мира. Каждый из бывших поляков должен выбрать себе отчество. Я уже навсегда россиянин” (цит. по [2. S. 125]), часто необоснованно объясняли в этнокультурных категориях, хотя в данном высказывании речь идет о смене политического подданства и понятном в свете идеологии Просвещения отождествления ликвидации государственности с исчезновением нации [7. S. 52].

Очевидная для большинства исследователей второй половины XIX–XX вв. национальная идея (романтическое понимание служения нации, которая охватывает все сословия, отличается от соседей набором признаков национальной культуры и стремится к обеспечению своего национального бытия в отдельном государстве) была в начале XIX в. даже не *одной* из возможностей, но концепцией, находившейся в стадии формирования. Это особенно любопытно в польском случае, поскольку там процесс формирования современной нации начался с политической фазы, с определения нации как суверенного сообщества граждан [7]. Данная статья и является попыткой описания процесса перехода от словно-исторической к этнокультурной модели нации, на примере отношения поляков к местному, этнически непольскому населению в мемуарах, написанных до 1830 г. и в первые годы после восстания. Предметом рассмотрения являются тексты, написанные авторами, связанными с территориями, которые после разделов Речи Посполитой стали западными губерниями Российской империи.

Будущий поэт и публицист Ф. Карпинский (1741–1825), происходивший из бедной покутской¹ шляхетской семьи, в своих “Воспоминаниях” пишет, что в день его появления на свет дом его родителей посетил будущий герой советской историографии, лидер опришков (крестьянского движения в форме социально-го бандитизма в Галиции и Буковине) Довбуш (Olexa Doboszczuk) с двенадцатью молодцами. Благодаря предложенному им щедрому обеду нежданные гости никого не обидили, а Довбуш даже попросил назвать автора воспоминаний в свою честь “Олексою” [8. S. 1–2]. После такого романтического вступления (которое, отметим, касается Прикарпатья, т.е. земель, отошедших по разделам к Австрии) русины надолго, а точнее, навсегда, исчезают со страниц книги воспитанника иезуитского коллегиума в Станиславе (нынешний Ивано-Франковск) и академии во Львове. Правда, Львов назван “русской столицей” [8. S. 20]. Отсутствуют рассуждения о населении и землях, включенных в состав России, куда Карпинский переехал в 1795 г. и где через семь лет посвятил Александру I свой

¹ Покутье – историко-географическая область, восточная часть современной Ивано-Франковской области (Украина), в документах XVIII в. – западный угол (укр. “кут”) Галиции между реками Днестр, Черемош и Карпатами.

морально-философский трактат “Разговоры Платона со своими учениками”, за что император отблагодарил его золотой табакеркой [9. S. 107].

“Воспоминания о Польше и поляках” М. Огинского (1765–1833) – яркое проявление литовской региональной идентичности в рамках польской политической шляхетской нации. Литовский магнат, сенатор и тайный советник более известный в наше время благодаря своему увлечению музыкой (плодом чего стал знаменитый “Полонез”), убеждал Александра I в целесообразности восстановления Великого княжества Литовского (ВКЛ). В его “Воспоминаниях”, написанных в 1815 г. по-французски и впервые изданных в 1827 г. в Париже, зафиксированы разговоры с императором, разнообразные проекты и мемориалы. Огинский предлагал создание ВКЛ как отдельной провинции в пределах империи в составе Гродненской, Виленской, Минской, Витебской, Могилевской, Киевской, Подольской и Волынской губерний, а также Белостоцкого и Тернопольского округов. Благодаря этому, доказывал сановник, империя расположит к себе “навсегда около 8 миллионов жителей” [10. S. 35].

Рассуждая о литовской (не путать с современной Литвой) идентичности, Огинский утверждал, что “гордые своим происхождением литовцы, несмотря на объединение своей провинции с Польшей, сохранили свои обычаи, свой гражданский кодекс, свое управление...”, а в мемориале французскому генералу, написанном в 1812 г. для объяснения причин незначительности поддержки национальных войск в Литве, подчеркивал, что не существует “ощутимой разницы между поляками и литовцами, особенно в шляхетском классе, каковой сам, если можно так сказать, составляет тело нации” [10. S. 34–35, 182].

Проект объединения бывших провинций Речи Посполитой в одну административную единицу в пределах России не был реализован (несмотря на временную расположность к таким планам Александра I) не в последнюю очередь под давлением российских элит, в аргументации которых преобладали геополитические и историко-легитимизирующие, но не родственно-этнические положения [11. С. 436–438].

Написанное в начале XIX в. “Описание обычая во времена Августа III” Е. Китовича (1728–1804), исторического писателя, участника Барской конфедерации, практически полностью посвящено шляхетской культуре и лишь две заключительные страницы, “О крестьянских обычаях”, описывают одежду русинских, краковских, мазовецких и мазурских крестьян [12. S. 313]. Важно, что в этом описании “русский” имеет исключительно региональное измерение, так же, как характеристики “краковский” или “мазурский”.

В “Воспоминаниях моих времен” поэта Ю.У. Немцевича (1758–1841), родившегося в Соках на Берестейщине, в описании детских лет русины не появляются вообще. Упоминание о них помещено в контексте рассказа о пребывании на тех землях российского войска, присланного Екатериной II в качестве аргумента для шляхты после невыгодных для императрицы решений сейма 1766 г. Немцевич пишет: “Не были москали тем, чем они стали теперь, никакого изъячества, не умели ни есть, ни пить”, еще и принесли с собой “неизвестное до тех пор в Польше приставание к замужним женщинам”. И здесь в тексте появляются крестьяне: “Эта несдержанность, эти грубые приставания распространились из дворцов на местные крестьянские халупы, и впервые неизвестный у нас досель яд испорченности разлился и среди наших сельских простолюдинов” [13. Т. 1. S. 42–43].

Вскоре Немцевич оказался, как и было заведено среди выходцев из бедной шляхты, на магнатском дворе, в данном случае А. Чарторижского, владельца огромных поместий на Украине. Именно с двором князя Чарторижского Немцевич впервые в 1780 г. совершил путешествие по Волыни, Подолии и Киевщины: “В том путешествии я посетил красивейшие, плодороднейшие провинции моей родной земли... С настолько миным изумлением после песчаных Мазовии и Литвы увидел буйные нивы, зеленые дубровы, чистые воды Горыня, Стыря, Случа, скалистые берега Днестра и украинские степи, которые не охватить взором”. Внимание поэта приковано к новым ландшафтам: “Те широчайшие, бесконечные поля, те редкие жилища и люди, та тишина, нарушаемая лишь никем не пуганными орлами, которые кружат в небесной лазури...” [13. Т. 1. S. 127–128].

Летом 1786 г. Немцевич принял участие во второй поездке двора Чарторижских на Украину. На этот раз мемуарист попал в Киев, где увидел “схизматических святых, плавающих в масле в пещерах” [13. Т. 1. S. 314]. Это зрелище настолько поразило поэта, что описывая в следующем томе воспоминаний свое очередное пребывание в Киеве, уже в качестве арестованного за участие в восстании Т. Костюшки, он снова рассказывает про святых: “В Киеве находятся подземные пещеры, где в наполненных маслом штолнях хоронят московских святых числом несколько десятков, все в богатых одеяниях. Киев – Мекка москалей, каждый из которых считает своей обязанностью хотя бы раз в жизни посетить это святое место” [13. Т. 2. S. 128]. Из текста воспоминаний следует, что столь категоричный вывод автор делает на основании поведения своего конвоира офицера Титова, который считал необходимым посетить Киево-Печерскую лавру.

Таким же образом из единичного случая Немцевич делает общий вывод, описывая непродолжительную задержку в Чернигове: “Жители, которые еще помнят свое прежнее отчество, симпатизируют Польше. После обеда к нам пришли несколько офицеров, по происхождению поляков, с огромным блюдом прекраснейших яблок. Когда наши конвоиры на минуту отошли, они говорили с нами по-польски, открыто сожалея о нашей участи” [13. Т. 2. S. 129].

Практически вся жизнь Я.Д. Охоцкого (1766/68–1848) связана с Волынью, а именно, с двором киевского воеводы Ю. Стемпковского. Написанные им на закате жизни в Житомире “Воспоминания” рисуют картину шляхетской идиллии. Охоцкий вспоминает культуру гостеприимства, ожидание гостей с самого воскресного утра и этикет проводов с вином до самой кареты при прощании. Мемуарист фиксирует, что в состоятельных семьях детям “с прислугой, с одной стороны, запрещались любые доверительные отношения, но с другой, дети не имели права ей приказывать, а лишь обо всем вежливо просить”, сразу же добавляя, что всеуважаемые граждане имели в услужении исключительно лично свободных людей, которые, правда, в присутствии барского ребенка не имели права ни садиться, ни стоять в шапке [14. S. 45–46]. Охоцкий очень детально описывает жизнь помещичьего имения, все категории слуг и их одежду, а затем решительно приписывает взрыв Коливщины недальновидности магнатов, “из-за беспорядка и безразличия которых страна перенесла настолько болезненные удары” [14. S. 108].

Коливщина – массовое движение и острейшее проявление социальной ненависти, вспыхнувшее в 1768 г., надолго осталась в памяти шляхты. Описывая свое путешествие в 1825 г. в Крым, путь куда пролегал через Умань, К. Качков-

ский рассказывает, как искал в этом городе старых людей, чтобы поговорить с ними о гайдамаках. По сообщениям стариков он находит места, где городские жители пытались укрыться от восставших и заброшенный колодец, куда сбрасывали трупы горожан [15. S. 52].

Крупнейший польский политический мыслитель Просвещения Г. Коллонтай отмечает, что наиболее кровопролитные волнения происходили на территориях, населенных православными и униатами. Коллонтай винит в этом польское правительство, не уделявшее внимания просвещению жителей этих земель. Доказывая, что вопросом первостепенной важности является обучение низшего православного духовенства, Коллонтай предлагает открыть в украинских воеводствах университет, а при нем – большую общую для православных и католических священников семинарию, которая должна была бы подготовить почву для добровольной унии тех, кто оставался верным православию [16. S. 155–160].

Таким образом, память о Коливщине и убежденность в деструктивной для Польши пророссийской позиции православного клира оставались важнейшими элементами мышления о “кресах”. Интересно, что, несмотря на это, Охоцкий весьма критически отнесся к слухам о возможности новых социальных волнений православного населения, которые овладели умами шляхты в 1780-е годы. Они отразили, в частности, уровень незнания и непонимания шляхтой особенностей православного богослужения, отсутствие четкого понимания отличий православных и униатов (“побаивались и униатского духовенства, не замышлявшего ничего злого” [14. S. 197]), а также страх перед восточным христианством. Образованная шляхта, вспоминая Коливщину, верила слухам о российских агентах, побуждавших православных священников призывать крестьян “резать панов”, об освящении теми же священниками ножей, а еще об упоминаниях в православном богослужении императрицы, т.е. Екатерины II, которые на самом деле были упоминаниями Богородицы [17. С. 199–202]. Охоцкий пишет о якобы задержанных крестьянских возах “с бочками, полными ножей ужасающего размера с какими-то будто бы крюками для вырывания внутренностей” и добавляет, что тех ножей никто не видел, зато в Варшаве их муляжи массово вырезали из бумаги и отправляли в провинцию. А всеобщая паника привела к тому, что “много невинных жертв (из числа русинских крестьян. – А.П.) рассталось с жизнью под топором палача в Житомире” [14. S. 298, 300].

Несколько иные эпизоды из религиозной жизни вспоминает С. Букар (ок. 1774–1853), потомственный владелец Янушполя на Подолии, участник торжественной делегации подольской шляхты в Петербург, утверждавший, что написал свои мемуары исключительно для собственных детей: “В торжественные праздники, поскольку тогда еще по всей стране сохранялась уния, весь двор служил службу Божью не в каплице, а в церкви, а капелла на хорах подыгрывала певчим” [18. S. 8]. Далее Букар подробно описывает обычный день помещика, вспоминает путешествие через губернию Екатерины II, когда его отец перед встречей императрицы в Лабуни переделал один из залов тамошнего дворца в точную копию королевского дворца в Варшаве [18. S. 12–17].

Малопривлекательную картину шляхетской жизни оставил в своих воспоминаниях А. Мощенский (1742–1823), выходец из Великопольши, переехавший на Киевщину, чтобы служить одному из крупнейших магнатов – ІІ. Потоцкому и оставшийся верным ему на всю жизнь. Критические оценки Мощенского даже вызвали замечание издателя его мемуаров, что, мол, в жизни этот человек отличался скорее сервильизмом, чем вольнодумством. Объектом критики становятся шляхетские обычаи, прежде всего воздаяния Бахусу, религиозные предрассудки с верой в духов. Мощенский не в восторге от уровня образованности и

морали католического клира и населения, но гораздо жестче осуждает все же духовенство униатское, по всей видимости, не до конца отличая его от православного: “Греко-униатские священники, т.е. попы или парохи, были еще необразованнее; они едва умели читать Псалтырь, не знали ни моральной теологии, ни основ веры; полны предрассудков, не ходили в иезуитские школы, ибо там не учат по-русски… Среди униатских попов или парохов почти не было шляхты. Попы преимущественно были подданными из тех же сел, где и становились парохами” [19. S. 19]. Магнатов, которые как правило не жили на Украине, а свои поместья поручали комиссарам, Мощенский упрекал в недостаточном внимании к нуждам католической церкви: “Не думая о всеобщем благополучии, они желали, дабы в их поместьях строились церкви, а не католические костелы, ибо церкви им не стоили ничего, кроме дерева, выданного общине на строительство, тогда как обустройство латинского костела требует средств” [19. S. 21].

Таким образом, во всех рассмотренных текстах, написанных представителями разных слоев польской шляхты, простой народ восточных провинций Речи Посполитой, а после ее разделов – западных губерний Российской империи, практически отсутствует. Как справедливо отметил, анализируя под тем же самым углом зрения иной круг источников Т. Будревич, в польских описаниях Беларуссии, Литвы и Украины XIX в. пейзаж преобладал над людьми [20. S. 55]. В то же время эмоциональные акценты другого вывода Будревича кажутся скорее данью современной политкорректности: “Следует с чувством определенного разочарования сказать, что этот образ (крестьянина кресов. – А.П.) достаточно односторонний” [20. S. 52]. Аналогичное впечатление оставляет один из тезисов Д. Бовуа в его замечательном исследовании системы образования в литовско-украинско-белорусских землях начала XIX в.: “Наиболее странной для наблюдателя XX столетия является, пожалуй, отсутствие в этом замкнутом польском мире коренных литовско-русских культур” [21. S. 366]. Возможно, способ представления крестьян в польских мемуарах и может несколько огорчить или удивить современного человека, но это не мешает попытке понять его и не требовать от людей начала XIX в., чтобы они мыслили нашими категориями.

В концепции нации эпохи Просвещения язык и культурные особенности низших сословий не играли решающей роли, тем более, что революционная Франция предлагала и способ решения этой проблемы – языковую и культурную унификацию. Польские концепции нации после разделов постепенно открывают двери в национальное сообщество мещанам и крестьянству, но делают это преимущественно в теоретической, а не практической плоскости и основываются на солидаристской модели, т.е. приглашении этих групп к национальному бытию шляхты, а не отторжению последнего [7. S. 96–97].

Сознательному переосмыслинию сословной природы нации предшествует опыт инструментального использования крестьянского фактора во время восстания Т. Костюшко 1794 г. В этой репетиции позднейшей “борьбы за души” Костюшко предложил личное освобождение крестьян и идею воспитания православных и униатов в польском культурно-языковом духе; а российская администрация в своих воззваниях к крестьянам призывала их поставить государственный интерес выше верности землевладельцам (см. [22. S. 314–318]). После подавления восстания российская элита “вспомнила” о своей сословной принадлежности, и это ярко продемонстрировало исключительно тактический характер одной из первых попыток империи искать опору в зависимом, а не господствующем сословии.

Процесс перехода от историко-политической к языково-этнической концепции польской нации, связанный с переосмыслиением роли этнически неполь-

ского крестьянства (особенно в контексте опыта восстания 1830 г.) отразился в текстах польских патриотов, оказавшихся в эмиграции.

Я. Яворский в “Украинских воспоминаниях”, изданных в 1846 г. в Париже, признает, что о зависимом населении задумался уже в эмиграции. По его мнению, “Польша упала потому, что мы никогда не имели доброй мысли об угнетенном народе, и не имеют еще многие из нас в эмиграции”, а на защиту родины крестьян следовало призвать “не как холопов, крепостных, но как поляков, сынов одной матери и одного отца” (цит. по: [23. С. 305, 307]). Яворский предполагает, что в случае игнорирования участниками следующего польского восстания населения Волыни, Подолии и Киевщины, эти земли “уже никогда не будут в одних границах с Польшей” и тогда “народ этих провинций, вероятно, сбросит сам ярмо своей неволи и станет отдельным независимым государством” (цит. по: [23. С. 313]).

Предположения Яворского кажутся скорее предостережением для его польских читателей, однако чрезвычайно важной остается принципиальная убежденность в отличиях “народа этих провинций” от великороссов. Этот акцент, очень распространенный в польской политической мысли, содержится и в эмиграционном издании “Беларусь. Несколько слов поэзии простого народа этой нашей польской провинции” А. Рыпинского. Говоря о принципиальном “отвращении” белорусских крестьян ко всему московскому, Рыпинский пишет: “Это Русь, насколько она есть и будет польскою, составляет нераздельную часть нашего дорогого отечества... Живет здесь простой народ славянского племени, издавна тесно породнившийся с семьею ляхов, честный, но убогий, и мало известный даже собственной отчизне его, Польше, хотя он любит ее выше всего” (цит. по: [24. С. 684]).

Противоречия между осознанием этнической специфики зависимых сословий и стремлением возродить Польшу в границах Речи Посполитой 1772 г. были непростым вызовом для польской политической мысли середины XIX в. Отвечая на него, польские мыслители ссылались на французский опыт, доказывая, что несмотря на этнические особенности, “русины и ляхи... всегда составляли один польский народ” [25. S. 11]. В этой достаточно типичной цитате стоит обратить внимание на использование слов “ляхи” и “поляки” приблизительно в том же семантическом соотношении, что “англичане” и “britанцы”. Кроме того они выдвигали разнообразные концепции федерации наций во главе с Польшей и, что особенно важно для развития украинского национального движения, последовательно убеждали русинов в их отличии от великороссов. Хотя при этом уверенность в национальном выборе русинов отсутствовала – цитированный выше Бушинский, например, доказывает, что развитие русинского национального сознания – это “игра на руку Москве” [25. S. 55, 146].

Как отметил А. Валицкий, для польского национального движения принятие этнической концепции нации и ограничение национального сообщества этно-культурными границами было связано с болезненным “уменьшением Родины”, особенно, принимая во внимание, пространство расселения польской шляхты [7. S. 121, 141].

Но в первой трети XIX в. такое уменьшение было далеко не очевидным, скопее наоборот. Парадоксальным образом, трагедия потери государства, исчезновение Речи Посполитой с политической карты Европы стимулировали поиски новых концепций. Последние годы XVIII и первая треть XIX в. стали временем новых возможностей, когда значительная часть польских элит верила, что наследник виновницы недавних разделов возродит историческую Польшу. Это

было время, когда сын одного из польских магнатов, чьим поместьям угрожала конфискация за поддержку антироссийских выступлений, А.Е. Чарторижский стал ближайшим другом императора Александра I и возглавил министерство иностранных дел (1804–1806); когда польский философ С. Сташиц выдвинул идею объединения вокруг России славянских племен и верил, что поляки могут выполнить в империи миссию, аналогичную с миссией греков в древнем Риме (“Объединимся с Россией и будем просвещаться. Мы возьмем от нее могущество, она пусть берет от нас просвещение” (цит. по: [26. S. 236]); а поэт – недавний участник восстания Костюшко – писал о реалиях российского господства на “кресах”: “Хотя и без Польши, но мы в Польше, и мы – поляки” [26. S. 274]. Этот период продолжался совсем недолго, уже во время наполеоновских войн ситуация начинает изменяться, польские элиты разочаруются в Российской империи, и с целью противостояния ее экспансии будут вынуждены обратиться к этническим концепциям нации, что в свою очередь спровоцирует на противодействие и российское общественное мнение и зарождающиеся литовское, украинское и белорусское национальные движения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Лескинен М.В. Мифы и образы сарматизма: Истоки национальной идеологии Речи Посполитой. М., 2002.
2. Kizwalter T. O nowoczesności narodu. Przypadek Polski. Warszawa, 1999.
3. Носов Б.В. Установление российского господства в Речи Посполитой. М., 2004.
4. Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w. Warszawa, 1995.
5. Wojtowicz J. Społeczeństwo polskie po trzecim rozbiorze. Opór-przystosowanie-kolaboracja // Oświadczenie wobec rozbiorów Polski. Łódź, 1998.
6. Mościcki H. Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. Wilno, 1913. T. I. 1772–1800.
7. Walicki A. Idea narodu w polskiej myśli oświecenowej. Warszawa, 2000.
8. Karpiński Fr. Pamiętniki. Poznań, 1844.
9. Sobol R. Karpiński Frantiszek // Polski słownik biograficzny. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1966–1967. T. XII.
10. Ogiński M. Pamiętnik o Polsce i Polakach. Poznań, 1870. T. III.
11. Карамзин Н.М. Мнение русского гражданина // Карамзин Н.М. О древней и новой России. М., 2002.
12. Kitowicz J. Opis obyczajów za panowania Augusta III. Warszawa, 1985.
13. Niemczewicz J.U. Pamiętniki czasów moich. Warszawa, 1957.
14. Ochocki J.D. Pamiętniki. Wilno, 1857. T. 1.
15. Kaczkowski K. Dziennik podróży do Krymu, odbytej w roku 1825. Warszawa, 1829.
16. Kołłątaj H. Listy Anonima i prawo polityczne narodu polskiego. Warszawa, 1954. T. 2.
17. Мякотин В. Крестьянский вопрос в Польше в эпоху ее разделов. СПб., 1889.
18. Bukar S. Pamiętniki z końca XVIII i początków wieku XIX. Warszawa, 1914.
19. Moszczeński A. Pamiętnik do historii Polskiej w ostatnich latach panowania Augusta III i pierwszych Stanisława Poniatowskiego. Warszawa, 1905.
20. Budrewicz T. Obraz chłopa z kresów w piśmiennictwie polskim XIX wieku // Chłopi, naród, kultura. Rzeszów, 1997. T. 3.
21. Beauvois D. Szkolnictwo polskie na ziemiach litewsko-ruskich, 1803–1832. Rzym; Lublin, 1991. T. 2: Szkoły podstawowe i średnie.
22. Żytkowicz L. Rządy Repnina na Litwie w latach 1794–1797. Wilno, 1938.
23. Пыпин А. Обзор малорусской этнографии // Вестник Европы. 1886. № 3.
24. Пыпин А. Белорусская этнография // Вестник Европы. 1887. № 4.
25. Buszczyński S. Podole, Wołyń i Ukraina. Lwów, 1862.
26. Kozłanian K. Pamiętniki. Poznań, 1858. Od. 1.



© 2006 г. А. В. БОРТНИКОВА

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛАСТИ С НАЧАЛА 90-Х ГОДОВ XX ВЕКА: ОБЗОР НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Специфика историко-культурного развития, геополитическое положение Волыни определяют своеобразие процесса перехода области к новым общественным условиям. Волынская область, как составная часть суверенной Украины, является активным субъектом государственности. Она имеет богатое историческое прошлое, значительный социально-экономический потенциал. Сегодня наблюдается динамичное развитие во всех сферах общественной жизни области.

По уровню развития и социально-экономическому потенциалу Волынь относится к тем областям, которые поздно встали на путь индустриального развития. Безусловно, это повлияло на экономическую и социальную инфраструктуру региона, характер социальных связей. По своему географическому расположению Волынь, как и соседние районы, является своеобразным "мостом" между Востоком и Западом, через который осуществляются многосторонние международные связи Украины со странами Европы. Приграничное расположение области, интенсивные культурные и социально-экономические контакты с зарубежными соседями находят свое отражение в общественном сознании жителей региона, определяют характер трансформационных процессов.

На развитие хозяйственного механизма области существенно влияет ее природно-ресурсный потенциал, который, по оценкам специалистов, является низким. В его структуре первые четыре позиции принадлежат земельным, лесным, водным и рекреационным ресурсам, которые и определяют в полном объеме направления социально-экономического развития.

Волынь относится к тем регионам Украины, где достаточно успешно возрождается хозяйственный комплекс, развиваются рыночные отношения. В области растут темпы и объемы промышленной продукции, производство товаров народного потребления: в 2000 г. по сравнению с предыдущим годом, они увеличились на 43.7%, по этим показателям область заняла второе место на Украине. Рост выпуска продукции обеспечивало большинство предприятий районного, а также областного значения. Количество бартерных операций сократилось до 7.2 %. В 2003 г. тенденция стабильного развития экономики края

Бортникова Алла Васильевна – канд. ист. наук, доцент Волынского государственного университета им. Леси Украинки (г. Луцк).

сохранилась. Об этом свидетельствует восьмое место по Украине, которое занимает область по результатам комплексной оценки социально-экономического развития регионов страны [1].

Процессы государственного строительства, которые начались на Украине после провозглашения независимости, распространились на все сферы жизнедеятельности общества. Переход от старой общественно-политической системы к новой породил много проблем социального характера (сокращение уровня индивидуальных доходов, резкое имущественное расслоение населения, массовая безработица и др.) Решение этих проблем требовало коренных изменений в самих принципах социальной политики, основу которой составили задачи развития социально-ориентированных рыночных отношений, обеспечения социальной справедливости путем поддержки наименее защищенных слоев населения и др. Об этом свидетельствуют многочисленные документы [2. С. 214–215]. Во второй половине 90-х годов XX в. четко прослеживалось повышенное внимание органов государственной власти к проблемам малообеспеченных и неработоспособных граждан, многодетных семей, инвалидов и других категорий населения, которые нуждаются в социальной помощи. Уже простой перечень постановлений по социальным вопросам, которые принимались на областном уровне, дает представление о приоритетных направлениях социальной политики. Так, например, в 1995 г. исполнительный комитет Волынского областного совета рассмотрел вопрос “Об организации социальной защиты малообеспеченных, нетрудоспособных граждан области”. В 1996 г. приняты постановления областного совета «О мероприятиях по выполнению национальной программы “Дети Украины”» и “Об изучении состояния социальной защиты ветеранов и людей преклонного возраста”; в 1997 г. – “О мероприятиях по реализации в области основных направлений социальной политики на 1997–2000 гг.”. 1998 г. стал годом принятия комплексной программы “Молодежь Волыни”. В 1999 г. снова поднялся вопрос “О состоянии погашения задолженности по заработной плате на предприятиях и в учреждениях области”. 2000 г. стал годом начала реализации программы, изложенной в Послании Президента Украины Верховному Совету Украины “Украина: путь в XXI столетие. Стратегия экономического и социального развития в 2000–2003 гг.”.

Литература, посвященная региональному развитию Волыни, включает в себя большое количество монографий, статей, отчетов о научно-исследовательской работе, научные программы, социологические исследования и другие аналитические издания.

Анализ научной литературы с точки зрения ее систематизации, выявления перспективных направлений и тем региональных исследований является сложной проблемой, которая не может быть решена в рамках одной статьи и требует совместных усилий научного сообщества, поэтому я ограничусь анализом наиболее крупных работ.

Публикация научных трудов по данной проблематике объясняется логикой трансформационных изменений в Украине вообще, на Волыни, в частности, и в значительной степени, обусловлена потребностями развития региона.

Анализ публикаций по проблемам социально-экономического развития Волыни в начале 90-х годов XX в. дает возможность выделить ряд их характерных особенностей, а именно: хаотичный и случайный характер, “публикация ради публикации”; направленность на популяризацию западного опыта рыночных преобразований; отсутствие скоординированных действий между научной общественностью и специалистами органов местной государственной власти в разработке научно обоснованных планов и программ социально-экономическо-

го развития области; незначительное количество монографической литературы по проблемам регионального развития, особенностью которой является локальный характер исследований [3–5].

Особый интерес представляют публикации по истории регионального развития периода независимости. Среди них следует выделить обстоятельный труд волынских исследователей “Волынь на рубеже веков: история края (1989 – 2000 гг.)” [2]. В нем всесторонне анализируется развитие основных сфер жизни Волынской области. Главной задачей авторского коллектива стало освещение процессов становления государственности, демократизации, социально-экономического и культурного развития региона. С этой целью была проведена систематизация разрозненного и фрагментарно изложенного в разных источниках материала, который представлен в исследовании уже как единое целое. Авторы стремились быть объективными, сознательно отошли от собственных оценок политических событий, с помощью документов показали сложный путь формирования молодой демократии и становления рыночных отношений в области в конце XX ст.

Основными источниками для книги послужили материалы волынской прессы: “Волинь”, “Віче”, “Молода Волинь”, “Волинський вістник”, “Народна трибуна”, “Народна справа”, “Луцький замок” и др. Кроме того, в работе активно использовались материалы Государственного архива Волынской области, Волынского краеведческого музея, архивы политических партий, общественных организаций, управления юстиции, областной государственной администрации, городских и районных государственных администраций, отдельных предприятий, фирм и учреждений.

Стремясь комплексно исследовать жизнь волынян на рубеже столетий, авторы понимали, что прошло еще совсем немного времени для непредубежденного подхода к событиям столь недалекого прошлого. Необходимо не одно десятилетие, чтобы понять всю глубину и масштабность преобразований, которые до сих пор еще переживаются, и дать им объективную оценку.

Значительное место в данном издании отведено анализу социально-экономического развития Волыни. Отказ от планово-распределительной системы и формирование рыночных отношений не могли происходить без потерь. В первой половине 1990-х годов наблюдались резкое сокращение темпов промышленного производства, высокие темпы инфляции, рост безработицы, почти вдвое сократилось производство сельскохозяйственной продукции на душу населения. Почти на 100 тыс. человек (численность населения области – немногим более 1 млн человек) сократилась занятость населения во всех отраслях экономики [2. С. 123].

Анализируемое издание вместе с многочисленными иллюстрациями является своеобразной современной летописью Волыни. Книга может использоваться как хрестоматия, поскольку в ней содержится большое количество документов, статистических данных, затрагивающих разные сферы жизни региона. Подавляющее большинство этих материалов вводятся в научный оборот впервые.

Позитивные изменения в тематике и характере региональных исследований начинаются после 1995 г., когда на Волыни начались реальные процессы приватизации и разгосударствления. Вхождение субъектов экономических и социальных отношений в специфические условия становления украинского рынка требовало научного обеспечения как на уровне отдельных предприятий, физических лиц, так и региона в целом.

Период с 1995 по 2000 гг. стал прорывом в реализации стратегии экономических и социальных преобразований. За это время в экономике Украины произо-

шли глубокие качественные изменения. Были установлены основные атрибуты национальной экономики: сформированы денежная, финансовая, платежная, налоговая, банковская и другие системы, которые вместе определяют экономическую инфраструктуру государства. Это был этап, когда утвердились базисные основы многоукладной экономики [6]. В этот период начали развиваться механизмы частной собственности, расширяясь корпоративный и частный секторы экономики. Постепенно внедрялись в жизнь идеи земельной реформы. С большими трудностями, преодолевая экономические противоречия и инерцию мышления, формировался рыночный механизм ценообразования, устанавливавшийся либеральный режим внешней торговли. Все эти и другие процессы, которые происходили в экономике и социальной инфраструктуре края, нашли освещение в научной литературе.

Одной из особенностей данного периода явилось усиление координации совместных действий исследователей и работников органов государственной власти. Методики и рекомендации ученых-экономистов начали учитываться властными структурами в осуществлении практической региональной политики. Традиционными стали такие формы сотрудничества, как совместные заседания, “круглые столы” и др. Представители научных кругов стали участниками разработок перспективных программ социально-экономического развития Волыни, а представители органов власти – региональных научных исследований [2; 7–11].

Примером эффективного сотрудничества научного сообщества с органами государственной власти может служить разработка концепции и организации Еврорегиона “Буг”. Его возникновение связано с общей философией развития Европы и мира в целом. Эту философию определяет объективный процесс интеграции на международном, государственном, региональном и локальном уровнях. Содержание предложенной концепции предполагает создание нацеленной на общественные потребности сбалансированной, региональной эколого-экономической системы, составляющими которой являются, с одной стороны, промышленно-хозяйственная структура, а с другой – природные ресурсы региона. Главной задачей этой системы является создание эффективно действующего экономичного механизма в условиях рыночной экономики [12–15].

В последние годы значительно возрос интерес ученых к комплексным региональным исследованиям, которые освещают разные стороны жизни области. На этапе реформирования современной системы хозяйствования качество регионального управления обуславливается многофакторной системой, где большое значение приобретает экономический потенциал регионов. Как экономическая категория он обозначает воспроизводство экономических отношений в процессе расширенного общественного производства, что обеспечивает национальную безопасность страны, ее конкурентоспособность, эффективность вхождения в мировые рынки. Как утверждают авторы монографий, посвященных проблеме диагностики и реализации экономического потенциала Волыни [16–17], появилась необходимость разработки научно обоснованных подходов, выбора стратегии регионального развития, которая базируется на инновационном механизме формирования региональной политики, а также совершенствования форм и методов программного регулирования на основе анализа и оценки экономического потенциала региона.

Глубокий экономический кризис, который в наибольшей степени охватил аграрный сектор экономики, способствовал разработке и реализации новой аграрной политики, осуществлению радикальных реформ, направленных на структурные преобразования агропромышленного комплекса Украины, совер-

шествованию его функциональной и территориальной структуры, сбалансированному развитию всех его отраслей. Предполагаются замена форм собственности, разгосударствление и приватизация имущества, развитие многоукладной экономики, формирование новых предпринимательских и хозяйственных структур, создание благоприятной среды для выхода сельскохозяйственного производства из кризиса и обеспечение его дальнейшего стабильного развития. Проблема реформирования предприятий аграрной сферы региона стала предметом научного поиска коллектива волынских исследователей. В частности, в книге “Реформирование предприятий аграрной сферы региона (по материалам Волынской области)” раскрываются основные причины спада производства сельскохозяйственной продукции, определены оптимальные пути осуществления экономической реформы с учетом исторического развития Волыни, ее экологических, социально-экономических и других условий. В коллективной работе определены также наиболее оптимальные варианты организации и функционирования новообразованных в АПК предпринимательских структур, указаны направления повышения эффективности использования аграрно-ресурсного потенциала, развития основных отраслей сельскохозяйственного производства, намечены пути совершенствования их структуры, размещения и специализации, подъема уровня управленческих решений [16].

В аграрном секторе экономики значительная роль отводится агросервисному комплексу, от степени развития которого зависит уровень и качество обслуживания населения и обеспечения его продуктами питания. В коллективной монографии “Региональный агросервисный комплекс в условиях формирования рыночных отношений (на примере Волынской области)” излагаются теоретические положения и методические подходы к исследованию особенностей функционирования волынского агросервисного комплекса химизации и его организационной структуры в условиях становления рыночной экономики [18].

К важным аспектам, которые сегодня требуют новаторских методологических подходов к их изучению и решению, безусловно, принадлежит и проблема обеспечения эффективности и функционирования производственных предпринимательских структур, которая должна привести в действие механизм поступательного развития экономики Украины и обеспечить ее прогрессивное развитие. Особенно актуальной в условиях перехода к рынку эта проблема становится для предприятий лесного комплекса и, прежде всего, деревообрабатывающей промышленности. По мнению авторов книги “Эффективность функционирования лесообрабатывающих предприятий региона (на примере ДЛГО “Волыньлес”)”, именно для Волыни, которая очень богата лесными ресурсами и является одним из основных поставщиков продуктов переработки леса, развитие деревообрабатывающей промышленности становится приоритетным направлением экономических преобразований [19].

Современное реформирование экономики предполагает проведение глубоких преобразований во всех сферах хозяйственного комплекса Украины, в том числе рекреационной. Особое место в процессе перехода к рынку принадлежит территориальной организации рекреационных систем. Как подчеркивают авторы монографии “Рекреационный комплекс Волыни: теория, практика, перспективы”, научное обоснование развития рекреационных процессов является необходимым условием эффективности территориального планирования и территориальной организации отрасли, поскольку оно базируется на разностороннем изучении и оценке природных условий и ресурсов, а также на хозяйственных региональных особенностях территории. Руководствуясь государственной программой социально-экономического развития Полесского региона на 1996–

2010 гг., исследователи сделали вывод, что существенных преобразований требуют две основные сферы территориально-рекреационного комплекса: санаторно-курортная – для социально незащищенных категорий населения с финансированием за счет государственного бюджета; а также туристически-рекреационная – для широкого круга населения, которая должна финансироваться согласно рыночным принципам [20–21].

В современной научной литературе намечаются новые тенденции в региональных исследованиях. Отдельные регионы, в частности Волынь, начали рассматриваться не только как составные части общенационального хозяйственного комплекса, или совокупность отраслей экономики, но и как более сложная система. Так, автор монографии “Политика регионального развития в условиях рыночной трансформации (теоретико-методологические аспекты и механизмы реализации)” В. Павлов определяет региональную политику как основной рычаг обеспечения конкурентоспособности региона и действенный способ его стабильного развития путем реализации приоритетных направлений использования хозяйственного потенциала, которые вытекают из диалектики природо-ресурсных, социально-экономических и geopolитических основ [22]. Исследователь творчески подходит к изучению проблем регионального развития, предлагая новые подходы и методики. В частности, в книге обоснованы необходимость использования новых региональных моделей межотраслевых промышленно-финансовых групп, создание холдинговых объединений и хозяйственных корпораций на базе лесохозяйственных комплексов, использование оперативного и финансового лизинга в сельскохозяйственном производстве. Предлагаются механизм адаптации региональной социально-экономической системы к условиям радиационного загрязнения путем формирования адаптационной модели, а также схема формирования комплексной программы развития региона конкретной специализации (рекреационного типа) и т.п.

Волынь принадлежит к тем областям, территория и население которых пострадали в результате Чернобыльской катастрофы. Поэтому исследования, связанные с проблемами ликвидации последствий аварии, имеют большое значение, как в научном, так и в практически-политическом смысле. Трансформационные процессы, которые происходят в регионе, требуют внедрения системы эффективного радиационного контроля, осуществления комплекса мероприятий адаптивного характера и соответствующего ему финансового обеспечения минимизации радиационно-загрязненной территории. Возможным путем решения этих проблем посвящена монография волынских исследователей “Социально-экономические последствия Чернобыльской катастрофы: адаптация, проблемы (по материалам Волынской области)” [10].

Авторские методики комплексного исследования региона как сложной системы открывают новые возможности для объективизации научного поиска, позволяют сделать практическую политику более реалистичной. В этом плане привлекает внимание исследование З. Герасимчук и И. Ваховича “Организационно-экономический механизм формирования и реализации стратегии развития региона”. В монографии предлагается оригинальная методика и осуществлена стратегическая оценка предпосылок формирования социальной, экологической и экономической подсистем региона, а также определены стратегические направления их развития [21].

К научным работам, посвященным социально-экономическому развитию Волынской области, следует отнести публикации в изданиях областных организаций Общества экономистов Украины и Географического общества Украины, научных учреждений и высших учебных заведений Волыни. Среди них следует

отметить сборник научных трудов “Проблемы рационального использования социально-экономического и природо-ресурсного потенциала региона: финансовая политика и инвестиции”, который выходит раз в год уже на протяжении десяти лет.

Анализ научной литературы показывает, что проблема развития региона как сложной системы находится на стадии интенсивного изучения. Ее определенные аспекты требуют более глубокой и всесторонней разработки. Особенно это касается вопроса развития социальной сферы, комплексное рассмотрение которого пока что остается вне поля зрения исследователей. В результате анализа литературы было также обнаружено почти полное отсутствие работ, посвященных истории экономического и социального развития края периода независимости. Ожидает своих исследователей и проблема обобщения передового опыта рыночных преобразований на Волыни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шляхом позитивних зрушень // Досвітня зоря. 6 III 2004.
2. Бортников В.І., Надольський Й.Е., Денисюк В.Т. та ін. Волинь на зламі століть: історія краю (1989–2000 рр.). Луцьк, 2001.
3. Соціально-економічний потенціал Камінь-Каширського району. Камінь-Каширський, 1992.
4. Соціально-економічний потенціал Любешівського району. Любешів, 1992.
5. Соціально-економічний потенціал Маневицького району. Маневичі, 1992.
6. Україна: поступ у ХХІ століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2000–2004 рр. Послання Президента України до Верховної Ради України. 2000 рік // Голос України. 2 II 2000.
7. Баторевич Т.Б., Панчишин В.Г., Павлов В.І. Волинь: інвестиційні пропозиції. Луцьк, 2002.
8. Кривицький А.Ф., Павлов В.І. Формування і розвиток територіального комплексу міста (за матеріалами м. Луцька). Луцьк, 1997.
9. Павлов В.І., Лукін С.О. Економічний потенціал регіону: діагностика та реалізація. Луцьк, 2002.
10. Павлов В.І., Фурів І.І., Павліха Н.В. Соціально-економічні наслідки Чорнобильської катастрофи: адаптація, проблеми (за матеріалами Волинської області). Луцьк, 2000.
11. Француз А.Й., Луцишин П.В. Концепція екологіко-економічного розвитку Волинської області // Наук. Вісник Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки. Луцьк, 2003. № 8.
12. Єврорегіон “Буг”: Економічна і соціальна географія Волині. Луцьк, 1995. Вип. 2.
13. Єврорегіон “Буг”: Волинська область. Луцьк, 1997.
14. Єврорегіон “Буг”: зовнішньоекономічна діяльність Волинського суспільно-територіального комплексу. Луцьк, 1998.
15. Клімчук Б.П., Луцишин Н.П., Луцишин П.В. Єврорегіон “Буг” концепція та стратегія розвитку. Луцьк, 2002.
16. Павлов В.І., Заремба В.М., Савош Л.В. Реформування підприємств аграрної сфери регіону (за матеріалами Волинської області). Луцьк, 1999.
17. Голев М.К., Павлов В.І. Корпоративне управління: діяльність підприємств на фондовому ринку (регіональний аспект). Луцьк, 2004.
18. Павлов В.І., Павлюк В.М. Регіональний агросервісний комплекс в умовах становлення ринкових відносин. Луцьк, 1995.
19. Павлов В.І., Колісник Б.І., Ткачик В.І., Шубалий О.М. Ефективність функціонування лісопереробних підприємств регіону (на прикладі ДЛГО “Волиньліс”). Луцьк, 2000.
20. Павлов В.І., Черчик Л.М. Рекреаційний комплекс Волині: теорія, практика, перспективи. Луцьк, 1998.
21. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Організаційно-економічний механізм формування та реалізації стратегії розвитку регіону. Луцьк, 2002.
22. Павлов В.І. Політика регіонального розвитку в умовах ринкової трансформації (теоретико-методологічні аспекти та механізми реалізації). Луцьк, 2000.



ОБЗОРЫ И РЕЦЕНЗИИ

Славяноведение, № 5

Н. ЮСОВА. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ти – перша половина 1940-х рр.). Вінниця, 2005. 545 С. + II.

Н. ЮСОВА. Генезис концепции древнерусской народности в исторической науке СССР (1930-е – первая половина 1940-х гг.)

Одной из знаковых концепций советской исторической науки стала концепция древнерусской народности. Ее генезис – тема практически неизученная в историографии и в то же время – сложная для раскрытия. Разработка этой темы посвящена рецензируемая монография Наталии Николаевны Юсовой – кандидата исторических наук, научного сотрудника Института истории Украины НАН Украины. Заметим, что Н.Н. Юсова начала заниматься темой с 2001 г., когда вышли ее первые статьи, которые (особенно, публикация в “Украинском историческом журнале”, 2001. № 6) произвели сильное впечатление в научной среде Украины вследствие своей оригинальности и остроты в плоскости критики историографических искажений. На момент защиты диссертации (январь 2005 г.) у автора вышло 27 научных публикаций по теме, а вот на момент выхода монографии (сентябрь 2005 г.) – уже 33, причем, как в Украине, так и России.

Во Вступлении Н.Н. Юсова выдвигает собственную версию историографического процесса создания концепции древнерусской народности. Суть авторской модели состоит в том, что данная концепция “сформировалась в исторической науке СССР в первой половине 1940-х годов вследствие внутренней логики предыдущего научного развития, опираясь как на

идейные и концептуально-теоретические положения предыдущих поколений историков досоветского периода, так и на количественное накопление новых материалов и концептуально-теоретических разработок в гуманитарных дисциплинах периода 1920–1930-х – начала 1940-х годов (в истории, археологии, этногенетике, лингвистике и др.), обобщенных в коллективных и индивидуальных работах советских историков. Впрочем, важнейшее значение в процессе генезиса концепции древнерусской народности сыграли вненаучные факторы, прежде всего – политico-идеологического характера, однако их роль, в целом, была опосредованной” (С. 13). Доказательству этой версии и посвящена монография. Автор также подробно останавливается на обосновании хронологических рамок исследования и своего понимания термина “генезис”. Под последним подразумевается “зарождение” и “вызревание”. Поэтому, на страницах монографии прослеживаются идейные и историографические истоки концепции, выясняются научные и политico-идеологические предпосылки ее возникновения, устанавливаются научные и политico-идеологические факторы, повлиявшие на ее возникновение, а также – анализируются первые научные труды по данной проблеме. Согласно Н.Н. Юсовой, начало ге-

незиса концепции в советской науке следует вести с выхода работы Н.Л. Рубинштейна “Очерк истории Киевской Руси” (1930), а окончание этого процесса связано с выходом в 1945 г. книги В.В. Мавродина “Образование древнерусского государства”.

Практически полное отсутствие историографической литературы по данному вопросу (следует констатировать излишнюю лаконичность и поверхностность историографических обзоров проблемы генезиса концепции даже у современных сторонников теории древнерусской народности, в частности – у П.П. Толочко и покойного В.В. Седова) привело автора к опоре на первоисточники, в том числе – архивные. Очевидно, что для полноценного исследования на подобную тему, необходимо было провести кропотливую археографическую работу по выявлению и включению в научный обиход большого комплекса материалов и документов. Хотя в монографии используется только 191 архивное дело, но их пришлось разыскивать, исследуя 56 фондов 24-х архивохранилищ (!) Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Подробный список дел, фондов и архивов, прилагаемый к монографии, позволяет заинтересованным специалистам удостовериться в добросовестности автора, а также почерпнуть необходимые археографические указания для собственных эвристических поисков. Заметим в то же время, что Н.Н. Юсова приводит в списке опубликованных источников и литературы – около 600 позиций, что свидетельствует и о классической историографической проработке материала.

Как нам представляется, из неопубликованных материалов наиболее важными для реконструкции генезиса концепции древнерусской народности являются материалы самих историков, в особенности – фундаторов этого научного построения. Их привлечение к анализу, очевидно, способствовало лучшему пониманию интеллектуального процесса и творческих потенций тех или иных ученых; установлению динамики, в том числе – хронологической, в генезисе концепции; определению персонального вклада отдельных историков и др. Основным ма-

териалом, представляющим собой источник для историографического исследования, прежде всего, являются опубликованные работы историков. Следует подчеркнуть, что в монографии впервые использованы и обобщены практически все работы творцов концепции древнерусской народности.

Н.Н. Юсова по-новому осветила идеино-историографические истоки концепции, в частности, показала тесную связь между последней и другой, распространенной в дореволюционной историографии парадигмой “единой русской народности”. Среди идеальных предтеч и теоретических предшественников советских историков – фундаторов учения, автор выделяет А.Е. Преснякова. Его творчество в этой области посвящен целый подраздел монографии. В ней также впервые выяснены научные и политico-идеологические предпосылки возникновения и формирования концепции. Установление хронологии историографических событий способствовало раскрытию динамики создания данного научного построения. Чрезвычайно ценным достижением работы Н.Н. Юсовой есть освещение многих аспектов, имеющих отношение к вопросу взаимодействия идеологии и исторической науки в сталинскую эпоху. Безусловно, важным в этой взаимосвязи является выделение вненаучных обстоятельств и определение их роли в генезисе концепции. Среди наиболее существенных следует назвать: фактор установления сталинской модели советского патриотизма и необходимость обоснования вековечной общности исторического развития народов СССР (прежде всего – восточнославянских), определивший актуальность и тематику научных исследований по этногенезу; влияние попыток возобновления с 1939 г. идеологии “воссоединения” украинцев и белорусов с русскими в связи с вхождением в состав СССР западноукраинских и западнобелорусских регионов; момент экстраполяции на прошлое идеологии восточнославянского единства ввиду необходимости солидарно противостоять общему врагу во время Великой Отечественной войны и др.

Автор сумела определить персональный вклад практически всех историков, причастных к генезису концепции. Надо сказать, что о вкладе большинства из них (М.И. Артамонова, П.Н. Третьякова, Н.С. Державина, А.Д. Удальцова, В.И. Пичеты, Н.Н. Петровского, С.В. Юшкова и др.) практически ничего не было известно. Так, например, как показывает Н.Н. Юсова, украинский историк Н.Н. Петровский первым публично в 1942 г. изложил основные черты концепции. Известный советский медиевист и этногенетик А.Д. Удальцов в годы войны разработал теоретические основы советской этногенетики и первым поставил вопрос о древнерусской народности в теоретическом аспекте. Указанные моменты в первичном виде были изложены автором еще в статьях 2001–2002 гг.

Важнейшим результатом работы стала реконструкция всех компонентов историографического процесса формирования концепции древнерусской народности. На основании новых источников доказано следующее: генезис учения произошел именно в указанных в монографии хронологических рамках, а не в послевоенный период, как до сих пор считалось. Приложения к монографии и содержат, в частности, такие до сих пор не опубликованные материалы, как: рецензию украинского историка В.Ю. Данилевича на монографию А.Е. Преснякова “Образование великорусского государства”; фрагмент из неопубликованной историографической монографии Д.И. Багалея, в котором анализируется книга Н.Л. Рубинштейна “Очерк истории Киевской Руси”; тезисы докладов С.В. Юшкова по этногенетическим проблемам, свидетельствующие о том, что ученый разрабатывал данную тему в рассматриваемый на страницах рецензируемой книги период; письма В.В. Мавродина к Н.Л. Рубинштейну, Н.С. Державину и К.Г. Гуслистому и др. Правда, качество представленных фотографий заявленных фундаторов концепции желает быть лучшим.

Вместе с тем, хотелось бы высказать некоторые замечания. Следовало бы больше внимания уделить обобщению как отдельных компонентов, так и всего

исследования в целом. Возможно, стоило бы более подробно рассмотреть некоторые моменты, разъяснив при этом тезисно сформулированные мысли. По сути, от использования этого приема работа только бы еще больше выиграла. Однако здесь произошла бы своего рода накладка, когда по причине включения в основной текст обширных пояснений, разросся бы объем. И в то же время, некоторые проблемы, поставленные украинским автором, для современной российской историографии уже являются более или менее изученными. Так, вопрос о негативном влиянии марристских построений на славяноведение прозвучал на страницах не одного научного издания. Укажем только на монографию московского специалиста, научного сотрудника Института славяноведения РАН М.А. Робинсона “Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов)” [1]; отметим, что в монографии она не используется. Хотя материал, представленный М.А. Робинсоном, касается и украинского славяноведения и, несомненно, вызвал бы интересные размышления. Он мог бы прозвучать еще одним основательно дополняющим аргументом в пользу гипотезы Н.М. Юсовой. Отметим, что оба современных исследователя прибегли в своих научных построениях к обширному использованию архивного материала. Учитывая скрупулезность проработки со стороны Н.Н. Юсовой, можно предположить: причиной, по которой она не включила в свою монографию работу М.А. Робинсона, стали технические неловкости – отсутствие книги в украинских библиотеках. Однако уже в своей последующей статье Н. Юсова обращается к труду М.А. Робинсона [2].

Тем не менее, в современной украинской историографии вопрос о специфике марристских изысканий в гуманитарных науках остается открытым. Поэтому, поставленная в монографии Н. Н. Юсовой проблема весьма актуальна для нашей отечественной историографии.

На страницах рецензируемой монографии в недостаточной мере использованы наработки западных историков, исследовавших сопричастную к заявленной

проблематике тему сталинской идеологии и политики в национальном вопросе.

На другие пробелы работы обратила внимание и сама автор рецензируемой книги. Хотелось пожелать, что бы их более глубокая проработка была осуществлена в предполагаемом втором издании.

К сожалению, монография Н.Н. Юсовой издана только на украинском языке и малым тиражом (300 экз.), хотя представляет несомненную ценность для современного историографического процесса. Хочется присоединиться к словам автора рецензируемой работы, обращенным к исследователям, о проведении

комплексной научной дискуссии относительно поднятых ею тем.

© 2006 г. *Моця А.П.*,
член-корреспондент НАН Украины

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Робинсон М.А. Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов). М., 2004.
2. Юсова Н.М. Започаткування в СРСР досліджень із проблем східнослов'янського етногенезу (кінець 1930-х – початок 1940-х рр.) // Український історичний журнал. 2005. № 4.

Славяноведение, № 5

В.П. ГРАЧЕВ. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.). М., 2003

Книга В.П. Грачева о событиях на Балканах между Аустерлицем и Тильзитом продолжает его многолетние исследования социально-политических процессов в данном регионе в связи с международными отношениями.

Исследователь бросил вызов давней традиции в рассмотрении раннего этапа национально-освободительных движений балканских народов, которая при всякой смене идеологических акцентов оставалась сферой возвеличивающих героическое прошлое интерпретаций. В них постоянно читался определенный политический заказ. Последняя модификация историографической традиции породила трактовку сербского восстания 1804–1813 гг. как первой буржуазной революции на Балканах, сравнимой по своему значению для региона с Великой французской революцией, которая в свою очередь имела европейский масштаб. Данная “марксистская” концепция проникла и в отечественную историографию, закрепившись в обобщающих трудах и учебной литературе.

Монография В.П. Грачева “Балканские владения Османской империи на рубеже XVIII–XIX вв. (Внутреннее положение, предпосылки национально-освободительных движений)” (1990) предложила совершенно иной взгляд на происходившее. Историк раскрыл несостоительность концепции ускоренного формирования предпосылок буржуазной революции в течение десяти лет между последней австро-турецкой войной и установлением янычарской диктатуры в Белградском пашалыке ни с фактической, ни с методологической точки зрения. Расширив контекстуальные рамки, Грачев пришел к выводу об участии христианской рапи (подданных) во внутритерримперском конфликте по поводу реформ “низами-джедид”, инициированных султаном Селимом III в надежде преодолеть системный кризис и модернизировать ветшавшую турецкую государственность. Неспособность центральной власти справиться с мятежной оппозицией, в конечном счете, заставила ее бывших союзников встать на путь национально-освободительной борьбы. В этой ситуа-

ции невозможно было обойтись без поддержки извне, которую оказала повстанцам Россия.

Исследование Грачева, вышедшее отдельной книгой, и статьи, которые ему сопутствовали, поколебали многие историографические мифы. В частности, о сознательном и неизменном выборе сербского народа в пользу независимой государственности в самом начале восстания. Пересмотру подверглись также взгляды на внешнюю политику России, которая порой рассматривалась даже как препятствие на пути обретения сербами свободы. Недооценка внешней помощи служила еще большей героизации освободительного движения сербов Белградского пашалыка, которые шли к поставленной цели вопреки всем рогаткам “великих держав”. В крайнем проявлении реставрировался миф о России-предательнице, использовавшей своих балканских партнеров для достижения узокорыстных имперских целей. Подобные оценки сочетались с классовой трактовкой внешней политики Петербурга, которая не могла быть ничем иным как “продолжением феодально-крепостнической реакции”. Тем самым, часто игнорировались обстоятельства выработки балканского курса, влияние на внешнюю политику России действий других европейских факторов, реально складывавшейся расстановки сил, а также проникновение в понимание международной жизни просветительских тенденций.

Вторая монография В.П. Грачева о национальных движениях на Балканах является хронологическим продолжением первой книги, но имеет и некоторые отличия от нее. Во-первых, основное внимание в ней удалено выработке и проведению балканской политики России в контексте международных отношений эпохи “наполеоновских войн”. Во-вторых, значительное место наряду с политикой в сербском вопросе занимает военно-политическое взаимодействие с черногорцами в Боке Которской и Герцеговине, которое также часто трактувалось как “использование” и “обман” со стороны России.

Исследования Грачева опираются на глубокое знание архивных материалов. В

1970-е годы он принимал самое активное участие в подготовке совместной советско-югославской публикации документов “Первое сербское восстание 1804–1813 гг. и Россия” (1980, 1983), в которую, однако, по техническим и иным причинам вошла лишь малая доля собранных усилиями большого коллектива ученых и архивистов источников. Неизвестные доселе материалы проливают свет на историю контактов русского правительства, дипломатов и военачальников с лидерами освободительного движения на Балканах, что позволяет создать более объективную картину происходившего. Главный прием, использованный в книге Грачева, на этот раз – это детальная реконструкция текущих событий с обильным цитированием архивных документов. Она помещена в известную концептуальную раму, обозначенную содержательным очерком историографии в начале, экскурсами в нее по ходу изложения и заключением, которое выдержано в полемическом ключе.

Политика Петербурга и поведение предводителей балканских движений определялось, по мнению автора, противоречивой и нестабильной динамикой взаимоотношений между Францией, Австрией, Турцией, Англией и Россией, колебаниями между мирным компромиссом и новой конфронтацией после поражения третьей антифранцузской коалиции. Еще одним фактором, который нельзя было не учитывать, являлся продолжающийся сепаратизм турецких пашей, способных на действия, несогласованные с центральной властью. При значительном совпадении интересов России и балканских вождей в противодействии французской экспансии в регионе (занятие Далмации могло быть только первым шагом) у них не было необходимых сил и средств, чтобы разрешить многочисленные и переплетающиеся между собой противоречия.

Приведенные Грачевым свидетельства документов оспаривают версию о навязанной черногорцам и приморцам Россией войне в Далмации, ставшей главным препятствием для их объединения с сербами, герцеговинцами и другими народами в борьбе против Османской им-

перии. Инициатива здесь могла исходить не столько от русских уполномоченных, сколько от самого митрополита Петра I Петровича-Негоша, который вынашивал амбициозный проект создания Славяно-сербского государства под эгидой Черногории с включением в него австрийской Далмации, части Герцеговины и других территорий. Возникновение известных "балканских планов" России по созданию ряда независимых или полу-независимых "национальных" государств на полуострове в известной мере было продиктовано подобными предложениями, неоднократно поступавшими в Петербург от имени черногорских и сербских деятелей. В то же время попытки привлечь население Герцеговины к совместным боевым действиям, например, под Никшичем (апрель 1807 г.) в целом не удались по нескольким причинам. Одна из них – малочисленность русского контингента, который, по словам местных духовных и светских предводителей, только и мог воодушевить потенциальных бойцов на борьбу. Кроме того, герцеговинцы оказались не готовы к ведению "регулярной" войны. Расчеты на всеобщее восстание христиан провалились.

Еще большую непоследовательность, по мнению Грачева, проявляли руководители восстания в Белградском пашалыке. В начале 1806 г. они заявляли о готовности принять участие в войне против Франции, если русские войска будут введены на территорию Дунайских княжеств и в Сербию. Однако уговорить на это Турцию, в то время еще союзницу России, вряд ли было возможно. Но даже, когда в конце того же года русско-турецкая война стала неизбежностью, сербские вожди не торопились в реализации этих планов. "... С выходом российских войск на Дунай выяснилось, что верховный вождь сербских повстанцев [Карагеоргий], вопреки прежним заверениям уже не хотел воевать с французами и отказался посыпать свои отряды на соединение с черногорцами, которые тем временем с русским отрядом пытались пробиться через Герцеговину для соединения с сербами. Более того, настаивая на введении российских войск в Сербию, Карагеоргий не спешил идти и на соединение

с российскими войсками на Дунае. Нерешительная и изменчивая политика верховного вождя сербских повстанцев в сочетании с неудачами в других местах не позволила командованию Дунайской армии провести быстро и решительно намеченный план по "устрашению" Порты. Потеря инициативы и времени позволили Порте с помощью французов консолидировать силы мятежных пашей и организовать более или менее надежную оборону, фронт которой протянулся вдоль Дуная от Крайовы до Измаила" (С. 221). Возникает вопрос: кто кого обманывал?

Впрочем, речь идет об обычной политической практике, с одной стороны, и неадекватности оценки партнеров, с другой: "... Правительство России, основываясь на непроверенных сведениях, поступавших из балканских владений Турции и Австрии, переоценило широту размаха, массовость и целенаправленность национально-освободительных движений, а руководители этих движений – потенциальную мощь Российской империи" (С. 273). Последняя не обеспечила себя надлежащей экспертизой в Юго-Восточной Европе. "Экспертами" по балканским делам в России выступали деятели вроде господаря Валахии К. Ипсиланти, которые имели свой интерес, преподнося информацию в препарированном виде. В то же время, балканские предводители не имели точных представлений о намерениях России. Очевидно, сказывался недостаток политического опыта. Вообще, проблематично судить, насколько "rationally" действовал, например, Карагеоргий. Где кончался "обман" и начинался "самообман", переоценка собственных сил и власть мифа о всемогуществе России-спасительницы? Однако Грачев не снимает ответственность и с русской дипломатии, которая вела переговоры с Францией в июне–июле 1806 г. о заключении Тильзитского мира в июне 1807 г. и вслед за тем о перемирии с Турцией без согласования с руководством Черногории и повстанческой Сербии, что не могло не вызвать у них опасений. Отчасти такая скрытность объясняется разочарованием в искренности заверений, сделанных Петром I и Карагеоргием вскоре по-

сле заключения Прессбургского мира между Австрией и Францией (в конце 1805 – начале 1806 г.). Таким образом, возрастающее недоверие друг к другу, к сожалению, становилось все более значимым фактором во взаимоотношениях России с лидерами балканских освободительных движений. Стоит упомянуть и о том, что амбиции черногорского митрополита и верховного вождя сербских повстанцев пересекались между собой. И тот, и другой, например, видели Герцеговину в составе “своего” Славяно-сербского государства.

Многие важные эпизоды в истории рассматриваемого периода, которые до сих пор оставались неясными, получили освещение в книге Грачева. Это касается, скажем, обстоятельств сербо-турецких переговоров о заключении так называемого Ичкова мира (по имени уполномоченного от сербов П. Ичко), проводившихся без согласования с Россией в июле–сентябре 1806 г. Прояснились личность еще одного эксперта по балканским про-

блемам Ф.О. Паулуччи, а также стратегические планы начального этапа русско-турецкой войны 1806–1812 гг., которую Грачев назвал “странной”. План молниеносного “устрашения” Турции путем блокирования Балкан на море и создания сплошной линии фронта от Далмации до Дуная с помощью освободительных движений славянских народов, который, по замыслу Петербурга, привел бы к установлению “нового порядка” в регионе, был не достаточно подготовлен и поэтому потерпел неудачу. Чем-то он напоминает более поздний проект “адриатической экспедиции” (1812 г.), не осуществившийся примерно по тем же причинам.

В год 80-летия пожелаем здоровья В.П. Грачеву – известному историку-сербисту и будем надеяться на завершение документированной истории балканской политики России эпохи “наполеоновских войн”.

© 2006 г. М.В. Белов

Славяноведение, № 5

Национальная идея на европейском пространстве в XX веке. М., 2005. Т. 1. 252 С.; Т. 2. 214 С.

Развернувшиеся с начала 1990-х годов, в условиях краха коммунистической системы, поиски путей самоопределения современной России в постсоветском пространстве (и – шире – Европе и мире) способствовали оживлению в отечественном общественном сознании интереса к проблеме “национальной идеи”, включая ее исторический аспект. Этот интерес тем более обоснован, поскольку обретение бывшими союзными республиками СССР полноценной национальной государственности, равно как и движение за расширение суверенитета российских автономий (Чечня представляет собой в этом смысле лишь самое крайнее проявление указанной общей тенденции)

лишний раз заставляют задуматься о необходимости неких сил, институций, механизмов, способных обеспечить сохранение целостности России как государства. Речь здесь не в последнюю очередь идет как раз о совокупности общенациональных идей, которые могли бы объединить и консолидировать современное российское общество, прийдя на смену отжившей советской государственной идеологии. В первой половине 1990-х годов в массовой периодической печати происходили дискуссии, привлекавшие внимание главным образом публицистов, что вело к крайней политизации подхода к таким понятиям, как “национальная идея”, “русская идея”. А с середины

1990-х разнообразная проблематика национальной идеи все более становится предметом серьезного научного анализа, без которого совершенно невозможны сколько-нибудь успешная выработка стратегической концепции современной России, обретение необходимых внешне-политических ориентиров. При сугубо научном подходе понятие преодолевает свою размытость, приобретает строгие формы в рамках исторических, историко-культурных, историко-философских исследований. При этом надо также иметь в виду, что искания российских ученых вписываются в широкий международный контекст, ведь в странах Западной Европы сегодня тоже происходит мучительный процесс поиска новых форм идентичности в условиях глобализации и углубляющейся интеграции. Вообще начиная с момента становления Версальской системы национальная идея остается важным двигателем политических процессов (внешних и внутренних) и существенным фактором государствообразования и международных отношений. Сборник "Национальная идея на европейском пространстве в XX веке", подготовленный ИВИ РАН по материалам научной конференции 2003 г., есть одно из характерных свидетельств пробуждения интереса к национальной идеи в академической среде, причем, пожалуй, в первую очередь среди историков (об освещении "национальной идеи" в отечественной историографии 1990-х годов см. в статье А.Ю. Бахтуриной) (Т. 1. С. 9–25).

Круг проблем, рассмотренных в сборнике, в основном ограничивается историческим материалом XX в., хотя и не замыкается всецело на нем. Так, в статье З.П. Яхимович речь идет о различных вариациях национальной идеологии в Италии эпохи Рисорджименто, оказавших заметное влияние и на итальянскую общественную мысль XX в. Дальнейшую историческую судьбу идейных течений, зародившихся в объединенной Италии последних десятилетий XIX – начала XX в., прослеживает Н.П. Комолова в содержательной и ярко написанной статье о трансформации национальной идеи в Италии в новейшее время. Статья этого авторитетного знатока итальянской

истории особенно отчетливо показывает существующий в нашей науке разнобой в трактовке термина "национализм". Н.П. Комолова, насколько можно судить из текста, последовательно придерживается традиционных для отечественной историографии позиций, понятие "национализм" у нее наполняется оценочным содержанием, ему, как правило, придается негативный оттенок. Антитезой национализму, пишет она, стала идеология национально-освободительного движения в годы Второй мировой войны, идеология Сопротивления (Т. 2. С. 114). Между тем, после перевода на русский язык трудов Э. Геллнера, британского неомарксиста Э. Хобсбаума и ряда других влиятельных авторов такая трактовка национализма не является уже и у нас (конечно, в науке, а не в публицистике) доминирующей, национализм не противопоставляется национально-освободительному движению, под национализмом теперь как раз и понимается, упрощенно говоря, теория и практика национальных (как частный случай, национально-освободительных) движений. Западное безоценочное понимание национализма как комплекса национальных идей и политических течений пробивает себе дорогу и в некоторых статьях рецензируемого сборника. Как бы там ни было, рассматривать проблему национализма можно только с учетом строгого историзма. Как справедливо отмечает Е.Ю. Сергеев, "для народов, не прошедших до конца стадии национальной консолидации, эта идея служит мощным созидающим стимулом. Для других, завершивших указанный процесс, национальная идея превращается в тормоз общественного прогресса" (Т. 2. С. 222).

Кроме того, в работе Н.П. Комоловой временами проявляются рецидивы в определенном смысле вульгарно-социологического подхода, несколько упрощающего классовое содержание политических процессов, сводящего слишком многое к одномерной схеме "буржуазия – пролетариат" («страх, пережитый итальянской буржуазией в период захвата фабрик, сделал борьбу с угрозой "большевизма" центральной задачей непролетарских сил») (Т. 2. С. 118).

В статьях И.С. Яжборовской и Е.Ю. Поляковой рассматривается эволюция национальной идеи в общественном сознании двух наций, в силу особенностей исторического развития опережающих другие народы Европы по интенсивности национальных чувств – речь идет о поляках и ирландцах. Польская национальная идея явилась не только производной специфического положения страны на пограничье двух больших культурных ареалов (“на восток от Запада и на запад от Востока”, как парадоксально определил место Польши в Европе всемирно известный драматург С. Мрожек). В течение XIX в. польская нация создавалась как бы над государственными границами и наперекор им; сопутствовавшие этому процессу освободительный пафос и вольнолюбивые эмоции на грани одержимости связали национальную идею возрождения страны с ее особой, мессианской ролью на европейской арене, с ее “предназначением, почтенно выделяющимся величием своей миссии” (А. Валицкий). В целях мобилизации национальной идеи на дело интенсификации освободительной борьбы энергично эксплуатировались мифологемы исторического содержания.

После воссоздания в 1918 г. польского государства национальная идея должна была претерпеть значительную модификацию, пересмотреть свои политические приоритеты. Однако, как показывает И.С. Яжборовская, за два межвоенных десятилетия эта идея так и не сумела получить нового полноценного наполнения, отчасти по экономическим причинам (разрыв Польши с Западной Европой по уровню производства на душу населения и уровню жизни только увеличился). Межвоенная концепция национального развития в условиях “равной удаленности” от более сильных соседей – СССР и Германии – оказалась контрпродуктивной и закончилась в 1939 г. очередным разделом страны. И.С. Яжборовская все же, на мой взгляд, не до конца проясняет, каковы были реальные альтернативы этой концепции равноудаленности при конкретном соотношении сил в Европе конца 1930-х годов, принимая

опять-таки во внимание особенности геополитического положения Польши.

В сегодняшней Польше, как и в ряде других центральноевропейских стран осуществление национальной идеи неотделимо от возвращения в Европу, превращения в составную часть Запада, что предполагает полноценную интеграцию в его экономические и политические структуры. Опасения утраты идентичности пока еще отступают на второй план. Как отмечает бывший министр иностранных дел Польши и известный историк Б. Геремек, именно вступление в НАТО может дать гарантии того, чтобы “место Польши в Европе и регионе не детерминировалось призраками прошлого, ее роковым расположением между Германией и Россией или тоталитарным диктатором” (Т. 1. С. 233–234). Стремление к членству в Европейском союзе также воспринимается как возврат в естественные цивилизационные рамки, соответствующие польской истории и национальной идентичности. При этом объединению нации вокруг идеи возвращения в Европу не слишком мешают колебания политического маятника; когда дело касалось вопроса о векторе национальных устремлений, до сих пор удавалось подняться над историческими размежеваниями, различиями в биографиях и т.д.

Национальная идея, однако, в определенных исторических условиях может не только консолидировать, но и разделять общество, что хорошо показывает в своей статье на ирландском материале Е.Ю. Полякова. До Первой мировой войны попытки примирения ирландского национального чувства с британским имперским патриотизмом были относительно эффективны, однако в годы войны происходит резкая радикализация настроений, требования ограниченной автономии уже все меньше удовлетворяют значительную часть населения, перестают быть идеалом, способным сплотить нацию. В значительной степени этой цели соответствовали республиканские концепции. Вместе с тем, по мере дальнейшей трансформации национально-государственного идеала становилось все очевиднее и то, что ирландская национальная идея в ее новом варианте также

отражала интересы не всего населения острова, а потому ее практическая реализация не могла не углублять раскол общества. Представители радикального крыла национального движения апеллировали к единой ирландской нации, игнорируя реальность существования в Ольстере пробританского протестантско-юнионистского анклава, стоявшего на пути создания независимой Ирландии. Углублению раскола общества способствовал не только католицизм, но и ориентация на патриархальные крестьянские ценности. Ольстерское протестантское население ставило перед собой другие ориентиры, перспектива создания патриархального католического государства никак не могла вдохновить ольстерскую буржуазию. Таким образом, в силу различий в восприятии национальных ценностей именно проблема Ольстера стала препятствием на пути осуществления ирландского национально-государственного идеала в его полном объеме. Ольстерские юнионисты постепенно отторгаются от своих ирландских корней, выражают готовность воспринять себя через британскую идентичность.

Эта идентичность, как и британская имперская идея не были чем-то раз и на всегда данным, меняясь в зависимости от изменения национальных интересов и конкретной исторической обстановки, трансформируясь в соответствии с требованиями времени и настроением большинства населения. При этом эволюция представлений и идеалов не означали отсутствия некоторых устойчивых ценностей, сохранявших свое значение на протяжении длительного времени вопреки всем историческим катализмам. Как показывает Г.С. Остапенко, такой ценностью оставалась, а в известной мере и сейчас остается монархия, символизирующая в английском и – шире – британском сознании не только былое имперское могущество страны, но и многовековую преемственность власти. Более того, и в рамках всего Содружества британский король (королева) несмотря на отсутствие конституционных функций продолжает восприниматься как символ свободной ассоциации независимых государств-членов и как таковой в качестве

неформального главы Содружества. Понятны в силу всего вышесказанного те серьезные опасения обвальной дезинтеграции империи, которые возникли во время монархического кризиса 1936 г., связанного с личностью Эдуарда VIII. Король воспринимался обществом как своего рода магнит, скрепляющий империю в условиях серьезных внешних вызовов.

Впрочем, роль британских монархов в XX в. не всегда была пассивно-символической. Г.С. Остапенко на большом историческом материале показывает, как на протяжении всего XX в. они, отнюдь не нарушая конституции, выполняли важную политическую функцию, выступая посредниками в разрешении внутриполитических кризисов, межпартийных, а часто и внутрипартийных противоречий, т.е. по большому счету миротворцами во внутренней политике. В немалой степени это касается и ныне здравствующей королевы. Владея действительно большой информацией и опираясь на свой многолетний опыт, Елизавета II иногда становилась инициатором переговорного процесса, способствовавшего преодолению конфликтов. С другой стороны, беря на себя роль лоббиста определенных групп (и в частности, фракций в консервативной партии), королева в своем благородном стремлении подняться над политическими распаями не всегда делала оптимальный персональный выбор. Так, предпочтение Елизаветой II Р. Батлеру лорда Хьюма стоило консерваторам поражения на выборах 1964 г. Шанс реально повлиять на политическую жизнь страны в прогрессивном направлении, совсем не часто предоставляемый в современной Европе коронованным персонам, не был использован Елизаветой должным образом. Г.С. Остапенко также рассматривает роль монархического института и в несколько ином плане – при проведении реформ он служит одним из стабилизирующих факторов общественной жизни и даже своего рода конституционным прикрытием.

В последние десятилетия все чаще имеют место попытки представить корону как конституционный анахронизм, выдвигаются концепции, доказывающие

некоответствие монархического устройства современной жизни в Великобритании, звучат призывы к пересмотру национальных ценностей. Необходимость модернизации монархии осознается и в Букингемском дворце. Вместе с тем монархия до сих пор обладает мощной силой там, где дело касается возбуждения чувств патриотизма и национальной солидарности. Как обращали внимание политические наблюдатели осенью 1997 г., никакие всеобщие выборы не смогли бы настолько овладеть душами британцев и объединить нацию, как это сделала смерть принцессы Уэльской. Причем история с Дианой не поколебала пietета ко всему правящему дому: празднование в 2002 г. золотого юбилея со времени вступления Елизаветы II на престол неожиданно для многих продемонстрировало всплеск патриотических чувств.

Пересмотр имперской политики и трансформация обслуживающей ее системы ценностей и идей всегда были вением времени – при том, что векторы эволюции иногда принципиально различались. Если британская имперская идея проделала путь от апологии колониализма к концепции Содружества, то германская совсем иной – от Бисмарка к Гитлеру (процессы эти пытаются сопоставить в своей статье А.М. Пегушев). Будучи важным инструментом в деле объединения страны, имперская идея в Германии уже к концу XIX в. все более становится обоснованием внешней экспансии. Причем варианты реализации экспансионистских устремлений могли существенно различаться – речь шла и о распространении германской гегемонии на заморские территории, принадлежавшие сооперникам империи Гогенцоллернов, и о продвижении в направлении Балкан, и о воплощении тех или иных проектов “Срединной Европы”. Новые корректиды в развитие германской имперской идеи внес, как известно, унизительный Версальский договор.

По мнению А.М. Пегушева, имперские идеи есть проявление национальных идей в их крайних экспансионистских формах; они утверждают национально-расовую исключительность и превосходство одних народов над другими (Т. 2.

С. 58). Такая трактовка представляется односторонней. Имперская идея может иметь и наднациональное содержание и быть инструментом (насколько эффективным, это другой вопрос) консолидации многонационального общества. Самые хрестоматийные в этом плане примеры дает, конечно же, опыт монархии Габсбургов. Нельзя отрицать также до известной степени позитивной роли имперских идей во внутренней консолидации российского государства в XVIII–XIX вв., в формировании единой германской нации во второй половине XIX в. Всегда нужно помнить и о конкретно-исторических истоках возникновения тех или иных имперских идей. Если габсбургские объединительные концепции уходят корнями в глубокое средневековье, и их генезис мало связан с этническими процессами, то “малогерманская”, прусская имперская традиция есть в значительной мере продукт развития немецкого этноса в XIX в., трансформации “культурной нации” в нацию политическую, требующую адекватной себе формы государственного существования.

На проблемах двухвековой эволюции германской нации и германского национального сознания останавливается А.М. Филитов в статье, отличающейся высоким уровнем аналитического мастерства. Известно, что процесс создания единого германского государства был неотделим от утверждения главенства Пруссии над остальными немецкими землями при исключении из “немецкой семьи” мощного соперника за гегемонию – Австрии. Выполнив при Бисмарке свою объединительную миссию, германская общеноциональная идея (все менее отделимая в своей официальной ипостаси от германской имперской идеи) постепенно приобретает черты агрессивной нетерпимости по отношению ко всем остальным нациям и национальностям как внутри Германии, так и вовне. Национальное самоутверждение на основе “образа врага” стало, как справедливо отмечает А.М. Филитов, одним из факторов, приведших к войне на два фронта и катастрофическому поражению в Первой мировой войне (обращаясь к конкретно-историческому опыту вильгельмовского

рейха, автор замечает, что широкое распространение там антианглийских комплексов резко сужало для политической элиты страны возможности маневра.

Применительно к периоду фашизма А.М. Филитов говорит о непомерно высокой цене достигнутого единства нации, по степени своего достижения редкого в мировой истории. Тотальное поражение во Второй мировой войне привело к полной компрометации соответствующих ценностей, традиций и символов. Правые в ФРГ, сразу взяв на вооружение не национальную, а наднациональную идею, старались избегать всего, что могло бы вызвать ассоциации с прошлым, напомнить о германском экспансиионизме. Достаточно привести заявления К. Аденауэра о том, что он больше европеец, чем немец, и не доверяет своему народу, который нуждается в "узде" в виде объединенной Европы. Вместе с тем в "европеизме" Аденауэра А.М. Филитов справедливо видит реалистическую разновидность немецкого национализма с учетом новых условий, а иногда и хорошую маскировку этого национализма. Согласно официальной идеологии аденауэрской ФРГ действительно готова была пойти дальше других европейских стран по пути воплощения принципа "наднациональности", что предполагало существенное ограничение национального суверенитета. Однако, если трезво смотреть на вещи, "от ФРГ при этом никаких жертв не требовалось, ибо, будучи оккупированной страной, она этим суверенитетом попросту не располагала. Всегда легко отдавать то, чего не имеешь, особенно если есть перспективы, что за такую щедрость можно получить что-то весьма существенное" (Т. 2. С. 158). Именно это и получил Аденауэр – доверие западных партнеров, возможности расширения суверенитета (кстати, как показано в статье Н.П. Комоловой, идеи единой Европы имели широкое распространение в тот же период и среди правых в Италии).

В соседней с ФРГ ГДР со временем была отвергнута осторожная позиция в вопросе о формировании самостоятельной "социалистической нации" на немецкой земле, которой придерживались в советском (сталинском, а потом и хру-

щевском) руководстве. Жесткость и категоричность новой линии Восточного Берлина, форсировавшего курс на размежевание с ФРГ вплоть до отказа даже от словесной приверженности делу единства Германии, вызывала, как показывает А.М. Филитов, некоторые сомнения со стороны ЦК КПСС. Автор рассматривает также имевшие место в обеих Германиях попытки возрождения в противовес дискредитировавшим себя вариантам национальной идеи регионального, земельного патриотизма. Они не имели успеха, особенно в ГДР, где явно не способствовали созданию традиции, оправдывающей существование самого этого государства.

К сожалению, в интересном сборнике остались незатронутыми парадоксы формирования австрийского национального сознания в соотношении с общегерманскими идеальными комплексами и габсбургской имперской традицией (также как и интересный опыт примирения национальной и государственной идентичности в Бельгии). Правда, в содержательной и проблемной статье Ар.А. Улууняна рассматриваются на материале балканской политики Австро-Венгрии начала XX в. конкретные способы практического осуществления определенных концепций, отражающих представления имперской элиты о своих национально-государственных интересах. Пытаясь сосредоточить в своих руках стратегически значимые магистральные коммуникационно-транспортные направления, габсбургская элита стремилась, по обоснованному мнению автора, реализовать неписанную доктрину экономического и политического освоения балканского геопространства. Именно так воспринималась политика Австро-Венгрии Российской агентурой на Балканах, следовавшей своим представлениям о национально-государственных интересах России в контексте общей ситуации как в отдельном регионе, так и в Европе в целом. Балканы рассматривались в России как нестабильная зона потенциальных этноконфессиональных и этнотERRITORIALНЫХ конфликтов, требующая консервации сложившегося в ней положения с тем, чтобы не допустить серьезного открыто-

го общеевропейского военно-политического противостояния. Причем, по мнению Ар.А. Улуняна, в сознании российской военной элиты нашла отражение борьба между двумя подходами в восприятии Балкан: традиционализмом прежних этноконфессиональных исторических оценок и новациями при формулировании национальных интересов России. Вызывает некоторое удивление тезис Ар.А. Улуняна о том, что славянские народы рассматривали своих неславянских соседей с той же степенью подозрения и опасений, которые получали взамен (Т. 1. С. 162). Одному из крупнейших российских историков-балканистов известно, что реальный политический водораздел в регионе почти никогда в Новое и новейшее время не проходил по линии “славянский – неславянский”. Едва ли нужно было также оставлять без должного комментария слова российского военного агента в Вене о том, что в вопросе о присоединении Боснии и Герцеговины венгры ставят категорическое требование, чтобы оккупационные земли были присоединены к Венгрии, австрийцы же не соглашаются (Т. 1. С. 181). На самом деле позиция венгерской элиты была не столь однозначна, усиления славянского элемента в восточной части дуалистической монархии, где венгры и так едва составляли 50% населения, в Будапеште явно не хотели – по крайней мере наиболее крупные политики вроде И. Тисы. Как не хотели, разумеется, и усиления Австрии за счет Боснии – это привело бы к диспропорциям в дуалистической конструкции. Для венгров было одинаково плохо и то, и другое. Проблема потенциальных изменений этнического баланса в дуалистической монархии, способного ослабить ее изнутри, очень серьезно изучалась и рассматривалась экспертами не только в России, но, конечно же, в первую очередь, в самой Австро-Венгрии. С интересом читаются в свете событий последнего десятилетия также аналитические записки российских экспертов о ситуации в Македонии как источнике конфликтов. Военные агенты России предвидели, что борьба интересов вокруг македонского вопроса всегда будет разделять Болгарию и Сербию. Они

предугадывали также, что попытки образования великой Албании неминуемо приведут к взрыву национальных чувств у соседних народов и представят тем самым серьезную опасность.

Реализация конкретных внешнеполитических проектов неотделима от общих представлений о национально-государственных интересах тех, кто стоит во главе своих стран. Отношение властных элит к национальным идеям в первой половине XX в. рассматривается в статье Е.Ю. Сергеева. Сопоставляя опыт разных стран как в канун Первой мировой войны, так и в условиях Версальской системы, автор показывает принципиально важную роль целенаправленной политики правящих элит для становления и модернизации национальных государств. Одной из важнейших сторон этой политики было стремление элит в интересах мобилизации масс на решение определенных политических задач (внутренних и внешних) эlimинировать социальные противоречия, перенеся акцент на этническую идентификацию. Как доказывает Е.Ю. Сергеев, во время Первой мировой войны властные элиты Германии, Австро-Венгрии и России не сумели предложить реальных проектов изменения всего вектора политической эволюции империй, отвечающих насущным задачам индустриальной модернизации в новых условиях. Так возникает потребность в национальной идеи, пришедшей в ряде европейских государств на смену имперской доктрины или же укрепившей свои позиции в сравнении с предшествующим периодом (в случае с Германией и Италией следует говорить, по мнению Е.Ю. Сергеева, о “квазимперской” форме все той же национальной идеи). В некоторых странах, особенно центрально-европейских, ожившая на исходе войны национальная идея стала отдушиной, в которую устремилась десятилетиями скованная социальная энергия масс. При этом национальная идея парадоксальным образом объединяла в себе мифы и реальность: исторически обосновавшиеся мифы о единстве национально-государственных интересов, о приоритете этнической общности доминирующей нации приходили в неизбежное противо-

речие с реальной пестротой этнической карты – в Польше, Чехословакии, Югославии и т.д.

Замечания к статье Е.Ю. Сергеева носят частный характер. Идея возможного переустройства монархии Габсбургов на триалистических основаниях принадлежала все-таки не Францу Иосифу и его окружению, а чешской (отчасти австро-польской) политической элите, и отвечала их интересам. Далее. Когда речь идет о противоречиях, вызванных соперничеством за влияние в одной стране двух этносов-доминантов (Т. 2. С. 15), пример чехов и словаков не очень удачен – речь могла идти либо о чешской гегемонии, либо об определенном варианте автономизма, ограниченного федерализма. С некоторыми оговорками это верно и применительно к сербско-хорватским отношениям.

Истоки оживления национализма в ХХ в. Е.Ю. Сергеев связывает с секуляризацией общественного сознания, поскольку сокращение количества носителей традиционного религиозного мировоззрения вызвало необходимость его замены национализмом как универсальным представленческим комплексом. Однако не совсем ясно, почему кризис социокультурной парадигмы прежнего аграрного миропорядка неизбежно приводил властные элиты к идеологии национализма как идеологии, наиболее адекватной индустриальной модернизации.

В статье С.П. Пожарской рассмотрен идейно-политический феномен “двух Испаний”. В.Д. Соловей вносит уточнения в категориальный аппарат, необходимый для изучения национальной идеи.

Часть авторов сборника обращается к проблематике национальной идеи на отечественном, российском материале, включающем духовный опыт эмиграции. Н.А. Герулайтис пишет о метафизике национальной идеи И. Ильина. Н.Ю. Степанов, посвятивший свою статью национально-государственному идеалу в представлениях евразийцев, доказывает, что их идеология воспринимала как крайности и монархическую модель будущего государственного устройства в России, и коммунистическую, основанную на чуждых западных ценностях. Вместе с тем,

по мнению евразийцев, в большевиках проявлялась и народная воля, ее существенные мотивы: жажда социального переустройства и социальной правды, инстинкты государственности и великодержавия. Понять стихийные, неосознанные устремления народа, придать им четкую форму и закрепить их в государственных нормах – в этом евразийцы видели важный момент построения своего государственного идеала, который, как нам представляется на основе большого преподнесенного материала, имел больше общего с большевистским этатистским идеалом, нежели сами евразийцы готовы были признать.

Краеугольным камнем концепции евразийцев был все же принцип исторической преемственности государства евразийского типа как наследника великих объединительных империй Евразии прошлых эпох. Московская Русь выступала в этом плане преемницей монголотатарского периода русской истории. Как показывает Н.Ю. Степанов, при моделировании евразийского идеального государства довольно многое заимствовалось из традиций русской государственности допетровских времен.

Некоторые построения евразийцев удивляют точностью политических прогнозов, будучи подтверждены в свете опыта развития молодых государств на постсоветском пространстве в последнее десятилетие. Таковы, например, рассуждения Н.С. Трубецкого: после отделения национальных территорий, когда приенный (т.е. в первую очередь великорусский) элемент изгоняется, попадая в разряд “иностранных подданных”, в молодой национальной республике начинает ощущаться недостаток в “интеллигентных силах”, поэтому каждому интеллигенту открываются довольно большие возможности для продвижения по службе, карьерного роста.

Очень хорошее впечатление оставляет статья М.М. Кононовой о проблеме патриотизма в контексте истории российской интеллигенции и эмиграции. В условиях кризиса монархии в России начала ХХ в. и особенно в годы Первой мировой войны действительно происходила деформация патриотического сознания

ния отечественной интеллигенции – из-за чувства ненависти к власти она сознательно занимала пораженческую позицию (германофильство, а несколько позже, уже в условиях гражданской войны, готовность поступиться ради освобождения от большевиков территориальными интересами России в пользу интервентов). Историк Ю.В. Готье в 1917 г. справедливо писал о том, что понятие общерусского и великорусского настолько отождествилось с политическим режимом, что и ненависть к этому режиму была перенесена на все общерусское, вызывала атрофию общерусского патриотизма. С другой стороны, послереволюционное изгнание действительно обернулось для российской интеллигенции, как и для некоторых высокообразованных представителей российского дворянства в XIX в., “школой обретения подлинного патриотического чувства и разочарования в Западе, идеями и культурой которого она так долго увлекалась” (Т. 1. С. 119). Осознание это пришло через обретение на чужбине российским “просвещенным слоем” пронзительного, ранее неведомого ему чувства родины. М. Кононова приводит слова писателя М.А. Осоргина о природной неспособности русских интеллигентов к “акклиматизации” (Т. 1. С. 121). Мы думаем, однако, что эту неспособность не следует абсолютизировать. “Мне незнакомо чувство ностальгии, мне нравится чужая сторона”, – писал уже в 1970-е годы осевший в США поэт из следующей волны эмиграции Иван Елагин. Возможно, мало кто из его соотечественников готов был бы подписать (в то или иное время) под этими словами, слишком эпатирующими своей откровенностью. Однако, факт, что иные из эмигрантов не только неплохо нашли себя на чужбине, но и не слишком рефлексировали по поводу оторванности от родины. Можно привести в пример хотя бы И.Ф. Стравинского (согласно отзывам некоторых мемуаристов).

О любви к несчастной родине, обесцененной, большой тяжким недугом, лишенной всякого величия писали Б.К. Зайцев и др. Интересно было бы, однако, в этом контексте проследить эволюцию отношения к своей родине эмигрантов по ме-

ре обретения Советским Союзом подлинного державного величия, ярко проявившегося к концу Второй мировой войны.

Можно было бы поспорить с тем, что “опыт обретения большей частью интеллигенции истинного патриотизма в условиях чужбины длительное время не был востребован в России” (Т. 1. С. 121). Это не совсем верно. Думается, что он иной раз был востребован, и не всегда лучшим образом: достаточно вспомнить о судьбе С.Я. Эфрана. Глубоко верно, однако, то, что в современных условиях этот опыт «мог бы послужить определенным предостережением для многих представителей российской интеллектуальной и политической элиты, по-прежнему слепо увлекающихся всевозможными западными идеологиями, технологиями, калькирующими их на отечественную деятельность и мыслящих Россию, в первую очередь, не как Родину, живое существо, а как некий безличный проект под названием “Россия”, у которого есть заказчики и исполнители» (Т. 1. С. 121).

Статья В.О. Колосовой основана на очень глубоком знании текстов крупных русских мыслителей первой половины XX в. Вместе с тем автор иногда слишком “идолопоклонствует” (по выражению Н.А. Бердяева) перед некоторыми громкими именами, не всегда, как кажется, отдавая должную дань необходимой критической рефлексии по поводу приводимых пространных цитат. Между тем, интересно было бы как-то откомментировать следующее высказывание того же Бердяева: “Пусть лучше существует страдающая, больная и неустроенная Россия, чем благоустроенные и самодовольные штаты Великороссии, Малороссии, Белороссии и других областей, возомнивших себя самостоятельными целями” (Т. 1. С. 33). В этом пугающем и, прямо скажем, весьма высокомерном и даже циничном максимализме Бердяева (причем максимализме более чем сомнительной этической окраски) возможно и следует искать корни неприятия им на определенном этапе своей духовной эволюции русского западничества, особенно в наиболее отдаленных от мессианства, наиболее “заземленных” его прояв-

лениях. Правда, система взглядов Бердяева, как убедительно показывает автор, была неизмеримо сложнее вульгарных антизападнических схем. В некоторых своих работах он призывал “жертвенно признать элементарную правду западничества”, “суровую правду закона и нормы”, “усвоить некоторые западные добродетели, оставаясь при этом русским”.

Кстати сказать, вышеприведенное высказывание Бердяева хорошо показывает степень оторванности абстрактных идеалов и идейных конструкций русских религиозных (и не только религиозных) философов от тех насущных забот, которыми жил боготворимый ими русский народ.

Слишком категоричным представляется тезис Н. Бердяева о том, что русскому народу “совсем не свойственен агрессивный национализм” (Т. 1. С. 32). Некоторые факты нашей истории, да и сегодняшнего дня, этот тезис, к большому сожалению, пусть не совсем опровергают, но заставляют откорректировать. Правильно ли, что колонизация окраин представляла собой, как полагал Бердяев, “внутренне оправданный и необходимый процесс для осуществления русской идеи в мире” (Т. 1. С. 32)? Оставляя этот вопрос открытым, заметим лишь, что не сколько схоже обосновывали целесообразность своей политики “Дранг нах Остен” виднейшие идеологи германского империализма (не желая власть в излишнюю крайность суждений, ограничимся здесь периодом кайзеровской, вильгельмовской Германии и выведем за скобки период 1933–1945). Особенно настораживает в этом контексте “осуществление русской идеи в мире”, в каких формах оно мыслится, не очень понятно.

А.Ю. Бахтурин сопоставляет восприятие “национальной идеи”, “русской”, а также “российской” идеи в дореволюционной отечественной историографии (где этим кругом проблем в основном занимались представители историко-правового направления, не отделявшие идею нации от юридической формы ее воплощения, т.е. рассматривавшие эту идею как совокупность представлений, обосновывающих образование национального

государства) и современной российской. В дискуссиях 1990-х годов также четко проявляется стремление к выявлению взаимосвязи между национальной (русской) идеей и идеей государственной, имперской. Причем последняя к концу 1990-х годов все менее воспринимается как отражающая агрессивные политические намерения. Отношение к имперскому типу государственности эволюционирует, некоторыми исследователями высказывается мнение о том, что имперская традиция иногда способствует ощущению европейской культурной идентичности, позволяет преодолеть историческую замкнутость. Размышая над ходом дискуссий последнего десятилетия, согласимся с тем, что попытки построения общегосударственной общности людей на отрицании национальных ценностей оказались крайне неудачными, наднациональные идеи действительно не смогли консолидировать советское государство и способствовали его распаду. Все это так, однако, с другой стороны, нельзя сводить всю политику советского периода к отрицанию этих ценностей. Представляется глубоко неверным мнение тех современных авторов (очевидно, не только и не столько историков, сколько публицистов, либо бывших преподавателей научного коммунизма, зачастую плохо знающих даже самые азы российской истории), которые считают, что в годы существования СССР “произошел полный отказ от использования национальной идеи как способа консолидации государства” (Т. 1. С. 21). Адресуясь к профессионалам, было бы скучно в самом деле напоминать о разгроме школы М.Н. Покровского еще в начале 1930-х годов, об активизации Сталиным деятельности православной церкви в годы войны, фильме “Александр Невский”, орденах Суворова и Кутузова, борьбе с “космополитизмом” и о многом другом. Впрочем, эволюция интернационалистской версии большевизма в сталинскую державную идеологию достойна стать предметом не только особого разговора, но самостоятельных конференций и монографий.

Как отмечается в статье А.Ю. Бахтуриной, в начале XX в. проблемы консо-

лидации Российской империи заставляли все больше говорить об идеологических средствах ее объединения, в этих условиях национальная идея трактовалась как важная часть государственной идеологии, направленной именно к консолидации многонациональной державы. Хотя осуществление великокорусского национально-государственного идеала в полном объеме не было свободно от стремлений к ассимиляции других народов в российском имперском пространстве, как трактовка национальной идеи, так и курс на ее реализацию всегда находились в зависимости от конкретной политической ситуации, соотношения сил внутри империи и на международной арене. Парадоксы формирования в границах архиконсервативной Российской империи финского национального государства западного типа рассматриваются в интересной статье Т.В. Андросовой. Хотя для становления Финляндии как независимого государства всегда считалось важным отмежевание не только от России, но и от Швеции, российский фактор приобретал все более существенное значение (при том, что не был неизменным по сути и форме). В 1920–1930-е годы наличие угрозы с востока (вполне реальной, как показала “зимняя война”) оказалось важнейшим средством преодоления разобщенности в финском обществе в противовес негативному влиянию революции и гражданской войны. Опасения на счет “восточного” соседа, как доказывает Т.В. Андросова, явились тем катализатором, который обеспечивал консолидацию в обществе. После Второй мировой войны осуществление национальной идеи приобрело новые формы: осознанная необходимость принимать в расчет интересы Советского Союза становится неотъемлемой частью внешней политики Финляндии. Можно согласиться с тем, что связи с СССР сыграли далеко не последнюю роль в достижении успехов финской экономики. Едва ли стоит, однако, преувеличивать роль Финляндии как важнейшего, по мнению автора, канала обеспечения советского присутствия в европейских политических и экономических процессах (Т. 2. С. 190). Внешняя политика Финляндии не была, как нам представляется,

слишком активной, ограничившись нахождением своей уютной ниши на международной арене и используя в своих интересах преимущества геополитического положения (более того, своей мудрой политикой финское руководство научилось превращать в преимущества даже очевидные недостатки). Сегодня защита национального суверенитета продолжает оставаться той идеей, которая цементирует финское общество. Решение о вступлении в ЕС следует связывать, по мнению Т.В. Андросовой, не только со стремлением Финляндии найти сильного союзника на случай необходимости защиты национального суверенитета, но прежде всего с желанием заявить о некоем-то обретенном суверенитете, который в течение нескольких десятилетий существовал в навязанных извне формах.

Проблемы украинского национального сознания и национальной идеи находятся в центре внимания Р.Я. Евзерова. Попытки современной украинской политической элиты примирить концепции “нации-государства” и “нации-этноса” вылились в формулу о том, что “Украина не является многонациональным государством. Она – государство с полигетническим составом населения” (Т. 1. С. 219). В то же время официальный Киев сегодня признает, что процессы консолидации украинской нации пока еще далеки от завершения. В частности, далеко не однороден по самоидентификации состав украинцев на востоке страны – многие, по данным опросов, чувствовали себя одновременно украинцами и русскими. Сложности возрастают оттого, что часть официально признанного украинского национального наследия создана на русском языке, находится в совместном русско-украинском владении – речь идет и о творческой личности такого масштаба, как Н.В. Гоголь. Поиски особости украинства, сопутствующие формулированию национальной идеи, сфокусированы прежде всего на России (симптоматично само название программной книги бывшего президента Л. Кучмы: “Украина – не Россия”). С другой стороны, современная украинская интеллектуальная элита (а П.Н. Милюков едва ли был далек от истины, когда писал о национализме как

продукте интеллигентского творчества) при всем своем этноцентризме готова хотя бы с оговорками признать: национальная идея не может формулироваться исключительно по принципу отторжения; будучи укорененной в национальных ценностях, она в то же время должна способствовать их интеграции в ценности общечеловеческие. В последнее время все более получает хождение понимание Украины как пограничья между Востоком и Западом, которое должно выполнить историческую миссию синтеза самых передовых достижений обеих цивилизаций.

В статье В.В. Дамье речь идет об отношении к национальной идеи идеологов анархизма. Нация воспринимается ими как искусственный результат властно-политических устремлений, за которыми скрываются материальные интересы имущих классов. Стойкое отвращение к любому национализму, включая национализм угнетенных наций, иногда побуждал анархистов даже не участвовать в выступлениях против шовинистической политики правящих кругов. Несколько

особняком стоит очень интересная статья О.В. Чернышевой о восприятии русского национального характера в Швеции, основанная на донесениях и мемуарах дипломатов.

Как справедливо заметил польский публицист К. Ижиковский, “каждое новое поколение имеет право на беспощадный пересмотр патриотических ценностей: таким способом возрождается патриотизм” (Т. 1. С. 241). Вопрос о национальной идеи не может утратить актуальность, приобретая новое звучание на каждом новом историческом витке. И не случайно властная и интеллектуальная элита современной России вновь ставит вопрос о сущности и объединяющей роли национальной идеи в условиях перехода страны к постиндустриальному, информационному обществу. Как справедливо отмечается составителями рецензируемого сборника, главное в национальной идее – точное отражение сегодняшних реалий и формирование задач, способных интегрировать наше общество.

© 2006 г. А.С. Стыкалин

Славяноведение, № 5

Л.П. ЛАПТЕВА. История славяноведения в России в XIX веке. М., 2005. 848 С.

Новый фундаментальный труд профессора МГУ Л.П. Лаптевой по истории славяноведения в России в XIX в. не может не привлечь внимания историков и широкого круга любителей истории. Появление его отвечает назревшему интересу к важной стороне истории славяноведения – к жизни и судьбам ученых-славистов позапрошлого века, не щадивших ни сил, ни здоровья для отыскания и сохранения источников и изучения истории славянских народов, их литературы и духовной культуры. Эту монографию Л.П. Лаптева рассматривает как итоговую (“труд своей жизни”), поскольку ей

предшествовало не менее трех сотен очерков и статей о творчестве отдельных русских славистов, об организации преподавания славистических дисциплин, русско-славянских научных и культурных связях и т.д. Исследование основано на огромном количестве изданных и не изданных документов из российских зарубежных архивов, в нем учтены выводы предшествующих исследователей, внесены отдельные корректизы в допущенные неточности.

Книга носит яркий отпечаток авторской индивидуальности. О своем видении особенностей развития славяноведе-

ния в России Лаптева говорит уже во вводной части книги (С. 8–12): ею никогда не разделялась утвердившаяся в советской историографии концепция кризиса славяноведения перед революцией 1917 г. Более того, она считает, что накопленный в русской науке к концу XIX в. интеллектуальный потенциал вывел наше славяноведение на мировой уровень, а в некоторых областях и на авангардные позиции, т.е. русское славяноведение развивалось по восходящей и достигло апогея в первые полтора десятилетия XX в.

Главное внимание сосредоточено на процессе развития славяноведения в России XIX в., который исследуется через характеристику основных центров изучения славян, анализ творчества крупных русских исследователей, их взаимосвязи с зарубежными учеными.

Монография делится на две неравные части: первая – “Зарождение и становление славяноведения в России” – охватывает период от начала и до 60-х годов XIX в. (С. 15–236), вторая, более обширная, – “Развитие русского славяноведения с 60-х годов – до конца XIX в.” (С. 237–827).

Первая часть открывается главой-очерком об изучении славян в Западной и Центральной Европе во второй половине XVIII – первой трети XIX в. В середине XVIII в. в Германии и Австрийской империи славяноведение уже существовало, и главным стимулом для развития науки о славянах послужил процесс национального возрождения славянских народов, пробуждения их национального самосознания. В Германии большое влияние на формирование славяноведения оказали труды Г.В. Лейбница, А.Л. Шлётцера и К.Г. фон Антона. В Австрии у истоков славистики стояли В.Ф. Дурих и Ф.Ф. Прохазка. Основателем чешской историографии стал И.Ф. Добнер, который как представитель чешского просвещения считал, что славяне являются одним из главных европейских народов. Другой чешский ученый – Й. Добровский – в поисках славянских рукописей побывал в Москве, где изучал летописи, древние списки Евангелия, старославянские книги и получил необходимую источни-

ковую базу для своих исследований. Его контакты с русскими учеными, особенно с П.И. Кёппеном, стали важной вехой в развитии связей чешских исследователей с Россией. По словам автора, Добровский своими трудами открыл Европе славянский мир, стал основателем науки о славянах, “патриархом славяноведения” (С. 35). Лаптева останавливается также на историко-философской концепции И.Г. Гердера, который в своем труде об историографии человечества специальную главу посвятил славянам. Он подчеркивал миролюбивый характер славян, которые, по его мнению, никогда не были, в отличие от франков и саксов, народом воинов и авантюристов. Гердер высказал мысль о равноправии всех народов, самостоятельной ценности каждой национальной культуры и ее взаимосвязи с другими национальными культурами. Эта концепция Гердера укрепляла самосознание славян и способствовала их культурному развитию. Неоднозначность концепции Гердера проявилась позже, во второй половине XIX в., когда положение о “миролюбии” и “пассивности” славян было оспорено в работах ряда русских славистов.

В главе рассматриваются заслуги словенского ученого Е. Копитара, польских филологов-славистов Е.С. Бандтке и С.Б. Линде, труды которых были известны в России. Но, к сожалению, нет никаких упоминаний о зарождении интереса к славянам в южнославянских землях.

Процесс постепенного накопления и расширения знаний о славянах в России освещается в следующей главе первой части монографии.

Пробуждение интереса к славянским народам автор видит в ряде фактов первых двух десятилетий XIX в. – прежде всего в появлении иностранных профессоров в российских университетах, принесших свежие сведения о славянах, в путешествиях представителей русского образованного общества (А.И. Тургенева и А.С. Кайсарова) по славянским землям, в появлении первых записок об этих путешествиях (например, “Путевого дневника” В.Ф. Тимковского). Однако русское общество было еще не готово к активному осмыслению полученных сведений.

Изменения произошли после войн с национальной Францией. Сформировалась атмосфера повышенной заинтересованности в знаниях о прошлом славянства. Созданные при российских университетах научные общества также проявляли интерес к славянской тематике. Общество истории и древностей российских (ОИДР) при Московском университете сотрудничало с зарубежными славистами Й. Добровским, В. Караджичем, М.К. Бобровским, И. Лелевелем. При Российской Академии наук была создана обширная библиотека по славянским языкам. Богатейшую библиотеку оригинальных славянских рукописей собрали члены известного "Кружка Румянцева", которые занимались разысканием, переводом и публикацией исторических документов по славистике.

Как отмечено в монографии, первыми значительными работами по славистике в России явились сочинения К.Ф. Клайдовича о болгарском писателе IX–X вв. Иоанне Экзархе, П.И. Кёппена о славянских памятниках, находившихся вне России, а также труды А.Х. Востокова о старославянском языке, положившие начало сравнительно-исторической методике лингвистического исследования в отечественном языкоznании. Именно с этого времени, считает Л.П. Лаптева, в России начинается систематическое изучение славян.

Во второй половине 30-х – 40-е годы XIX в. крупными знатоками славянства становятся М.П. Погодин, Н.И. Надеждин, П.П. Дубровский, Н.Д. Иваницев. Все они побывали в известных центрах европейского славяноведения за рубежом – Праге, Вене, Берлине, Загребе. Между русскими и зарубежными учеными сложилось равноправное общение. Русские ученые, обнаружив во время своих путешествий новые памятники духовной культуры славян, делали их доступными и для европейских исследователей. В России знания о славянах пропагандировались на страницах передовых журналов – "Вестник Европы", "Московский вестник", "Телескоп", "Телеграф" и др. Правительством были предприняты меры по созданию кафедр славяноведения в российских университетах.

В третьей главе монографии показаны уровень преподавания славистических дисциплин в российских университетах в 40–60-е годы XIX в. и творческий путь ученых, составивших первое поколение отечественных исследователей.

Кафедра истории и литературы славянских наречий в Московском университете была открыта в 1836 г.; и профессором этой кафедры был назначен М.Т. Каченовский, который, по словам автора, относился к числу лучших в России знатоков славянства. Особенно обширными были его знания в области истории памятников древней письменности, этнографии, польской литературы. Его сменил на кафедре О.М. Бодянский. Благодаря ему Московский университет стал главным центром славяноведения в России. Именно Бодянский поставил преподавание славистики на научную основу, а его труды явились серьезным вкладом в развитие русского славяноведения. Кроме того Бодянский и старшее поколение его учеников (Е.П. Новиков, А.С. Клеванов) сыграли большую роль в формировании славянофильства как научного направления.

В Петербургском университете, как отмечено в монографии, атмосфера интеллектуальной и культурной жизни была западнической. Талантливым ученым и преподавателем здесь был П.И. Прейс. Безвременная смерть (в 36 лет) не дала ему возможности полностью реализовать свои способности.

В этом же и следующем разделах читатель может подробно познакомиться с другой замечательной личностью в русской науке – И. И. Срезневским. Он был известен не только своими исследованиями, но и странствиями по тогда малоизученным славянским областям. Он проехал и прошел пешком от Истрии до Венецианской Словении, Сербию, Хорватию, Черногорию. В Праге он познакомился с В. Ганкой, Я.Э. Пуркине, а также Я.А. Смолером, от которого получил обширные сведения о лужицких сербах. Курсы, читавшиеся Срезневским, отразили уровень науки и методы исследования, принятые в то время. Консервативные политические взгляды Срезневского не помешали ему, как подчеркива-

ет Лаптева, стать ученым мирового масштаба, корифеем славянской и русской филологии.

В Казанском университете заведовал кафедрой истории и литературы славянских наречий В.И. Григорович, крупнейший ученый середины XIX в. Чтобы познакомиться с жизнью зарубежных славян он для своего научного путешествия избрал редкий маршрут по областям европейской Турции, где до него славяноведы почти не бывали. Он посетил Константинополь, Солунь, Афон, Македонию, Фракию, Мизию. Усердие этого первоходца и труженика науки не может не вызвать глубочайшего уважения. “В Хиландарском монастыре, – пишет Лаптева, – Григорович спускался в грязное подземелье, рылся там среди гниющих рукописей … за 4 месяца ученый осмотрел 2800 греческих и 445 славянских рукописей … Из множества грамот, хранившихся в афонских монастырях, ему удалось снять копии со 120” (С. 217). У Григоровича установились широкие связи с чешскими учеными, особенно с П.Й. Шафариком, которого интересовали рукописи, приобретенные русским ученым на территории Турции. Но в Казани, где Григорович продолжал преподавать, у него не сложилось своей научной школы: в этом далеком от столиц городах отсутствовал интерес к славянским народам. Деятельностью таких ученых, как О.М. Бодянский, И.И. Срезневский, В.И. Григорович, был заложен фундамент для работы следующего поколения русских славистов

Вторая, более объемная часть монографии, открывается введением, где автор отмечает, что после отмены крепостного права и проведения реформ в российском обществе произошли значительные изменения: сформировалось общественное мнение, открыто обсуждались вопросы русской политики и жизни. Польское восстание 1863–1864 гг., Славянский съезд 1867 г., русско-турецкая война 1877–1878 гг. и освобождение Болгарии выдвинули на передний план вопрос о судьбах славянства и отношении к нему России. С 1860-х годов появились культурные, благотворительные и просветительные организации (Московский

славянский благотворительный комитет, Санкт-Петербургское благотворительное общество и др.), которые публиковали научную и популярную литературу о славянах.

Центральными исследованиями славян оставались университеты, количество которых увеличилось: были открыты Варшавский и Новороссийский (Одесса). Основную массу славистов составляли университетские профессора. Университеты издавали сборники и журналы. Славяноведческие дисциплины начали преподаваться в духовных академиях, Академии Генерального штаба. Что касается актуальной для сегодняшнего времени проблемы подготовки кадров профессиональных историков, то в монографии даны наглядные примеры, как это делалось в дореволюционной России: новым университетским уставом 1863 г. предписывалась двухгодичная командировка за границу всем лицам, готовившимся к профессорскому званию.

В Московском университете улучшилось преподавание славянских языков, произошла дифференциация славяноведения: в особый предмет выделилась история славян, в самостоятельные отрасли оформились славянские литературы, право, археология. Появились значительные исследования по истории Польши и Сербии; историей Чехии занимались несколько меньше.

В 1860–1870-е годы происходит смена поколений русских славистов, которые под влиянием изменившихся условий выработали свои взгляды на славянство. Эти ученые более трезво оценивали современное состояние славян, не разделяя восторженно-романтического отношения своих учителей к славянской старине. В Московском университете продолжала преобладать славянофильская концепция истории славян, но уже критиковались ее отдельные положения. Позитивистская методология с трудом пробивала себе дорогу.

Москва с ее Славянским комитетом, журналами, университетом оставалась центром славяноведения в России. В Московском университете в этот период работали выдающиеся ученые-слависты

А.Л. Дювернуа, А.Ф. Гильфердинг, Н.А. Попов.

А.Ф. Гильфердинг в монографии предстает как один из родоначальников изучения славянского прошлого и создателей славянофильской концепции истории зарубежного славянства. Основные его исторические труды посвящены прошлому балтийских и южных славян и Чехии, ряд историко-публицистических работ затрагивают положение современной ему Польши и русско-польские отношения. Исследования Гильфердинга о балтийских славянах превосходили по фактическому материалу сочинения немецких ученых и прочно вошли в науку. Что касается Чехии, то работы Гильфердинга, по мнению Лаптевой, не внесли новой струи в постижение истинного смысла и характера гуситского движения. Занимая высокую государственную должность русского консула в Боснии, ученый имел возможность наблюдать жизнь южных славян, и его исследования по истории сербов и болгар явились важным вкладом в славяноведение.

Гильфердинг вел необычайно активную общественную работу по поддержке славяноведческих исследований как в России, так и за рубежом. Он был три года председателем Санкт-Петербургского славянского благотворительного комитета, который помогал материально славянским зарубежным деятелям, и стремился способствовать духовному сближению славян. Автор справедливо называет его образованнейшим, талантливым, трудолюбивым представителем русского славяноведения.

Не менее интересно в монографии описывается жизнь и творческий путь Н.А. Попова. Об этом ученом в нашей новейшей историографии известно больше, чем о многих его современниках-славистах. Авторы работ о Попове сходятся в высокой оценке его наследия.

Останавливаясь на Петербургском университете, Лаптева еще раз возвращается к деятельности И.И. Срезневского и дает его мастерский портрет, используя сохранившиеся воспоминания современников. Но основное место в этом разделе отведено характеристике другой, по словам автора, гигантской личности второй

половины XIX в. – В.И. Ламанскому. Ему были свойственны энциклопедическая ученость, огромная энергия, научная смелость. Как и большинство русских исследователей, он побывал за рубежом, в землях славян, создал свой журнал “Живая старина”, где печатались материалы о славянах. Он выдвинул свою концепцию ранней истории славян, а его историософские построения явились одним из вариантов славянофильского подхода к истории и современному положению славян. Историография деятельности Ламанского обширна, однако, как считает Лаптева, его интеллектуальное наследие до сих пор недостаточно изучено.

Из учеников Ламанского представлены Ю.С. Анненков, В.Э. Регель, И.С. Пальмов, о других сказано очень кратко (Ф.Ф. Зигель), некоторые лишь упомянуты (Т.Д. Флоринский).

Крупнейшим исследователем и общественным деятелем в Петербурге был А.Н. Пыпин, жизнь и творчество которого пристально изучаются в наше время.

А.Н. Пыпин, как показано в монографии, относился к западническому крылу общественного движения в России, сотрудничал в журналах “Вестник Европы”, “Отечественные записки”, “Современник”, боролся со славянофильством и панславизмом, выступал за европеизацию русской жизни. Научная и литературная деятельность Пыпина, по словам автора, составила эпоху. Первоклассный ученый европейского значения, он освещал и анализировал в своих работах уровень развития науки о славянах в России и за рубежом, был членом многих научных сообществ.

В главе, может быть, излишне подробно рассказывается и о другом выдающемся ученом – Н.И. Карееве, специалисте по истории Западной Европы. Зато страницы, посвященные анализу его работ по истории Польши и Чехии, читаются с большим интересом и раскрывают новые аспекты отечественной историографии этих стран.

Третья и четвертая главы посвящены развитию славяноведения в университетах – Киевском и Казанском. Первый, несмотря на сложную политическую атмосферу, созданную внутри его стен

из-за антироссийских настроений студентов-поляков, внес значительный вклад в развитие славистики: при нем существовали научные общества, печатный орган “Киевские университетские известия”, преподавали известные ученые А.А. Котляревский, сменивший его ученик В.И. Ламанского – Т.Д. Флоринский, вел активную общественную работу секретарь Киевского Славянского благотворительного комитета – Н.П. Задерацкий.

В третьей главе подробно рассматривается творческий путь А.А. Котляревского. Он был западником и, по словам автора, с полной объективностью высоко оценивал достижения немецкой науки и её значение для культурного развития славян. Научные труды Котляревского основаны на источниках и внесли много нового в изучение древностей поморских славян; им было проведено уникальное для того времени исследование погребальных обычаяев языческих славян. Особое место в его творчестве, как показано в монографии, занимают работы по истории славяноведения в России. Автор подчеркивает, что Котляревский олицетворял собой новый этап в развитии славистики, ему было чуждо романтическое отношение к славянскому прошлому, и он более объективно оценивает заслуги родоначальников русского славяноведения – И.И. Срезневского, О.М. Бодянского, А.Ф. Гильфердинга, Ф.И. Леонтовича и др.

В Казанском университете успехи славистики были гораздо скромнее. До середины 80-х годов XIX в. единственным преподавателем славяноведения в Казани был М.П. Петровский, творчество которого в советское время изучалось преимущественно литературоведами: Петровский занимался славянской поэзией и переводил на русский язык польскую, сербо-хорватскую, болгарскую литературу, читал курсы по истории славянской литературы. Он часто выезжал за рубеж, побывал в Чехии, Сербии, Рагузе, Задаре, Сплите, поддерживал связи с А. Патерой, Й. Коларжем и др. Особый интерес представляют его работы о своем учителе – В.И. Григоровиче. Петровский, как считает Лаптева, оценил значение новаторской деятельно-

сти Григоровича, его научный подвиг по сбору драгоценных рукописей.

Следует отметить, что с середины 80-х годов XIX в. в Казанском университете уже работал известный историк-славист И.Н. Смирнов, впервые занявшийся изучением общественного строя средневековых далматинских городов. Однако рассказ о Казанском университете в книге Лаптевой прерывается этим периодом, и научная деятельность Смирнова остается незатронутой. Думается, что характеристика наследия И.Н. Смирнова могла бы повысить оценку научного вклада Казанского университета в развитие русского славяноведения к концу 80-х и в 90-е годы XIX в.

Заключает главу небольшой параграф о научной деятельности единственного ученика Петровского – И.А. Снегирева.

Пятая глава книги касается развития славяноведения в Варшавском университете. Враждебная национально-политическая среда, созданная студентами-поляками, обучавшимися здесь в значительном количестве, не помешала русским профессорам проводить успешные научные изыскания в области славистики. Эта глава по широкому охвату материала и количеству представленных ученых могла бы стать самостоятельной монографией. Наиболее выразительным в ней получился портрет В.В. Макушева – историка, исследователя зарубежных архивов, собирателя и публикатора источников.

Творческий путь Макушева, человека преданного науке, готового к самоотверженному поиску источникового материала, был во многом типичен для русских исследователей той поры. При характеристике его биографии, исторических взглядов, общественно-политической позиции Лаптева использует огромное количество документов – автобиографию и отчеты самого историка, воспоминания, письма, рецензии современников. По окончании университета Макушев по долгу бывал за рубежом – то в качестве государственного служащего, то в качестве командированного с научными целями. Он побывал в Дубровнике, об истории которого написана его первая

диссертация, посетил Болгарию, Македонию, Герцеговину, Боснию, Албанию, Афонские монастыри – и более трех лет провел в Италии, исследуя архивы Венеции, Милана, Неаполя, Палермо, Турина. В результате этой беспрецедентно огромной работы ученый обнаружил двадцать тысяч документов по истории славян, которые ему, к сожалению, не удалось полностью опубликовать. Его докторская диссертация “Исторические разыскания о славянах в Албании в Средние века” явилась новым словом в русской и европейской науке. Значительная часть научного наследия Макушева посвящена изучению истории южных славян, хотя многие сюжеты из истории Чехии и Польши тоже получили квалифицированную разработку в его трудах.

Макушев не разделял многих положений славянофильской теории, а по своим методам использования источников приближался к позитивизму.

К сожалению, по свидетельству Л.П. Лаптевой, научное и литературное наследие этого замечательного ученого далеко не полностью было использовано современниками и потомками. Более того, судьба многих из собранных им источников в настоящее время неизвестна.

Более кратко в главе рассказано о творчестве К.Я. Грота, которому принадлежит капитальное исследование по истории Венгрии и славянства в Средние века, о работах чешского исследователя Й.И. Первольфа, преподававшего в Варшавском университете, о научном наследии П.А. Кулаковского. Автор также отмечает научные заслуги лингвиста А.С. Будиловича, правоведа Ф.Ф. Зигеля, профессора кафедры русской истории И.П. Филевича.

И общий вывод главы о том, что Варшавский университет был одним из важных центров изучения славянского мира, звучит вполне убедительно.

В шестой и седьмой главах рассматриваются два провинциальных университета – Новороссийский и Харьковский, научная деятельность в которых в области славистики была осложнена отсутствием научной литературной базы и традиций.

В Новороссийском университете развитие славяноведения в этот период связано с именем А.А. Кочубинского, универсального ученого, который преподавал все славянские дисциплины, но занимался преимущественно языкознакомством и историей славистики. И хотя публицистические работы Кочубинского отразили приверженность его к отдельным славянофильским суждениям, славянофилом он, по мнению автора, не был. В главе проанализированы работы Кочубинского по Чехии XVII в., истории Общины чешских братьев, а также его статьи по чешскому национальному возрождению, где русский ученый сумел дать объективную оценку деятельности чешских исследователей – Й. Добровского, П. Шафарика, Ф. Палацкого и др. Кочубинский был родоначальником изучения истории русского славяноведения. Материалы, вошедшие в его работу о начальных годах русского славяноведения, как считает автор, сохранили свою актуальность и используются в настоящее время.

В Харьковском университете преподавали П.А. Лавровский, также известный своими трудами по истории русской славистики, и В.К. Надлер, занимавшийся разнообразными историческими сюжетами, в том числе и гуситским движением в Чехии.

Весьма заметной фигурой среди харьковских славистов, как яствует из монографии, был И.М. Собестианский, талантливый и смелый исследователь. Он обосновал свою концепцию ранней истории славянских народов, опровергвшую идеи И.Г. Гердера и В. Суровецкого о пассивности древних славян, неспособных отстаивать свою территорию. Кроме того он развенчивает заслуги П. Шафарика, который многое заимствовал у Гердера, и отдельные труды которого, по утверждению Собестианского, носят компилятивный характер. Доводы Собестианского вызвали острую дискуссию среди славистов, о чем подробно рассказывается в монографии.

Думается, однако, что в книге Лаптевой научная позиция самого Собестианского отчетливо не прорисована. Непонятно, например, как он мотивировал свое отрицание общинного строя у слави-

вян. Известно, что во второй половине XIX в. в русской исторической науке утвердился взгляд на универсальность общинного пути развития для всех народов раннего средневековья.

Научному наследию М. Дринова, который работал в Харьковском университете, в книге Лаптевой уделяется сравнительно небольшое внимание, что, вероятно, обусловлено существованием специальной монографии о его жизни и творчестве.

В своем заключении, подводя итоги проделанной работы, Л.П. Лаптева отмечает существенную особенность отечественного славяноведения XIX в.: русские ученые – историки, лингвисты и слависты другого профиля – интересовались всеми аспектами жизни всего славянского мира, тогда как ученые других славянских стран сосредотачивали свои усилия на исследовании преимуществен-

но родного языка, собственной истории и литературы.

Итак, монография Л.П. Лаптевой в настоящее время представляет собой наиболее полное исследование процесса формирования славяноведения в России XIX в. В ней отмечена сложная общественно-политическая обстановка в России, Центральной и Юго-Восточной Европе, охарактеризованы основные направления отечественной историко-политической мысли, мировоззренческие особенности славянофильства и западничества. В работе сформулирована аргументированная концепция о высоком уровне работ русских славистов и восходящей линии развития русской славистики во второй половине XIX в. Книга в целом отразила современные подходы к изучению российского славяноведения.

© 2006 г. Н.П. Мананчикова

Славяноведение, № 5

Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории. Отв. ред. В.В. Марынина. М., 2005. В 2 кн.

Выход в свет рецензируемой монографии представляет собой заметное явление в отечественной историографии. Напомним, что предыдущий обобщающий труд по чешской и словацкой истории – “Краткая история Чехословакии. С древнейших времен до наших дней” (под редакцией А.Х. Клеванского, В.В. Марыниной и И.И. Попа) – увидел свет 17 лет назад (М., 1988). С тех пор многие оценки и выводы устарели; и хотя с начала 1990-х годов отечественными исследователями было написано немало работ, уже много лет ощущалась необходимость подготовки подобного обобщающего труда.

Монография вышла в серии “XX век в документах и исследованиях” и представляет собой солидное, иллюстрированное (что немаловажно) двухтомное

издание. По своему жанру “Чехия и Словакия...” представляет собой исторические очерки. В предисловии специально подчеркивается, что “ракурс освещения избирался автором каждого очерка самостоятельно, сопрягаясь с его представлениями о том, что нуждается в пересмотре и уточнении оценок”, а каждый автор “представляет свою точку зрения” (Т. 1. С. 10). Это замечание ответственного редактора не случайно – в подаче материала и выборе акцентов разные разделы книги существенно отличаются друг от друга, что, впрочем, отнюдь не влияет на итоговую историографическую значимость работы. Очерковый характер работы оправдывает и выбор исследовательской тематики, представленный в монографии. Внимание авторов акцентировано на ключевых моментах чешской

и словацкой истории – возникновение Чехословацкой республики в 1918 г. и ее расчленение в 1939 г., чехи и словаки во время Второй мировой войны, режим “народной демократии” 1945–1948 гг. и строительство социализма в 1949–1953 гг., Пражская весна 1968 г., “бархатная революция” 1989 г. Существенное внимание удалено и современному периоду – первому десятилетию существования независимых Чехии и Словакии (1993–2003). К сожалению, подобное распределение внимания авторов привело к тому, что совершенно не освещенными остались несколько периодов. Если первая половина XX в. представлена весьма полно вплоть до конца 1950-х годов, то первая половина 1960-х, 1970–1980-е и 1990–1992-е годы остались совершенно вне поля зрения авторов. Конечно, такое положение вещей отнюдь не является их волюнтаристским подходом, а объясняется состоянием (можно сказать, кризисным по ряду параметров) отечественной исторической науки вообще и истории Чехии и Словакии в частности. Хотя указанные пробелы не снижают общей ценности монографии, тем не менее раскрытие хотя бы предыстории Пражской весны и “развода” Чехии и Словакии в 1992 г., не говоря уже о 1970–1980-х годах, существенно облегчило бы восприятие материала многим читателям, особенно студентам и аспирантам, для которых данная книга является особенно необходимой. Однако указанное пожелание является единственным существенным замечанием в отношении качества работы, исключение составляет лишь несколько недочетов, о которых будет сказано ниже.

Следует прежде всего отметить, что вся книга написана на хорошем уровне, с учетом новейшей историографии и архивных документов. Авторы сумели представить не только свою точку зрения на узловые моменты чешской и словацкой истории XX в., но и показали основные концептуальные подходы, существующие в современной исторической литературе. Следует подчеркнуть бережный подход к историографическому наследию, без огульного неоправданного отрицания всех без исключения достиже-

ний советских историков, что, к сожалению, часто встречается в наши дни. Отрицать значение многих наработок советской исторической науки неразумно, особенно в изучении таких крупных проблем, как чешская и словацкая культуры, движение Сопротивления, национализация промышленности и аграрная реформа в период “народной демократии”. В результате авторский коллектив сумел добиться адекватного соотношения современного видения проблемы и накопленного историографического опыта.

Очерки, выстроенные по проблемно-хронологическому принципу, значительно отличаются друг от друга по объему и представленной тематике. Так, перу Е.П. Серапионовой принадлежит ряд очерков, охватывающих в общей сложности довольно большой период – от начала XX в. и до начала Второй мировой войны. По характеру подачи материала эти разделы ближе к учебнику, нежели к статье, хотя автор сумела избежать аксиоматичности учебника. В очерках подробно освещены не только ключевые моменты данного периода (Первая мировая война и образование Чехословацкой республики в 1918 г., “мюнхенский кризис” 1938 г. и “вторая республика”), но и представлена во всех аспектах жизнь чешского и словацкого общества в межвоенный период. Е.П. Серапионова уделила внимание не только событиям политической истории, но и экономике, и социальным, и даже национальным отношениям в ЧСР, от чего работа только выиграла. Правда, автор не сумела избежать и некоторых технических “описок”. Так, общенациональную коалицию 1922 г. возглавил не В. Шробар, как это указано (Т. 1. С. 122), а А. Швегла, причем Е.П. Серапионова даже посвящает Швегле в связи с событиями 1922 г. отдельный пассаж. Есть и некоторые разнотечения в названии аграрной партии. Так, в одном случае она названа Республиканской партией сельского и мелкокрестьянского люда (Т. 1. С. 110), а в другом традиционно – Республиканской партией земледельцев и малоземельных крестьян (Т. 1. С. 143).

События Второй мировой войны в освещении В.В. Марьиной представлены

двумя очерками, первый из которых посвящен движению Сопротивления, а второй – международным аспектам восстановления Чехословацкого государства. В центре внимание автора – чешское коммунистическое подполье и деятельность Словацкого национального совета. Много говорится и о Словацком национальном восстании, причем, поднимая вопрос об отношении к нему СССР, В.В. Марьина предлагает рассматривать это событие в широком международном контексте того времени, с учетом отношений внутри антигитлеровской коалиции, отношений Москвы с чехословацким эмигрантским правительством в Лондоне, особенностей советской политической стратегии в странах Центральной и Юго-Восточной Европы, а также внутренних условий существования Советского Союза (Т. 1. С. 384–385). Столь широкий подход помогает оценить роль коммунистов в сложном раскладе политических сил в Чехии и Словакии.

Логичным продолжением темы Второй мировой войны является анализ следующего периода чешской и словацкой истории – “народной демократии” и строительства социализма. Эти разделы, охватывающие события 1945–1960 гг., также написаны В.В. Марьиной. В них автор дает оценку государственному устройству и политическому ландшафту новой Чехословакии, останавливаясь как на отчасти разработанных в историографии проблемах (февральские события 1948 г., экономические реформы), так и сравнительно новых (вопрос о выселении из страны немцев и венгров, роль института советских советников, характер политических репрессий). В центре внимания автора – противоборство различных политических сил в послевоенной Чехословакии, поиск компромисса в чешско-словацких отношениях, а также политика коммунистической партии и ее взаимоотношения с высшим партийным руководством в Москве. Эта сторона истории Чехословакии представлена весьма подробно. Подчеркивая роль Москвы в складывании политической и экономической стратегии чехословацких властей, В.В. Марьина одновременно демонстрирует другую линию – взаимо-

отношения широких кругов населения, в том числе крестьянства, интеллигенции, студенчества с коммунистическим правительством.

Следующим важным событием, рассматриваемым в монографии, является Пражская весна 1968 г. Этот раздел написан В.Л. Мусатовым. Свообразие авторского подхода к проблеме выразилось в рассмотрении по существу лишь одной линии – Советский Союз и Пражская весна (раздел так и называется). В.Л. Мусатов сумел показать в динамике сложные взаимоотношения пражского и московского руководства, одновременно уделяя внимание и роли коммунистических партий других социалистических стран в событиях 1968 г. Подробно рассмотрены и попытки переговоров с чехословацкими властями, и предыстория военного решения проблемы. Много внимания уделено А. Дубчеку. К сожалению, вне поля зрения автора остались многие важные проблемы. Совсем не освещенными оказались причины Пражской весны – ни изменения внутри правящей партии, ни в чешском и словацком обществе, ни попытки проведения реформ. Так, хотя в тексте и упоминаются и манифест “2000 слов”, и “Клуб 231”, остается непонятным, зачем и по какой причине они возникли.

Следующие два очерка посвящены уже событиям “бархатной” революции 1989 г. В первом из них, под названием «Путь к “бархатной” революции», рассказывается о событиях конца 1988 – осени 1989 г., второй («История “бархатной” революции. 17 ноября – 29 декабря 1989 г.») посвящен непосредственно революционным событиям. Причины остались намеченными лишь пунктиром. Тем не менее Э.Г. Задорожнюк удалось достаточно обстоятельно проанализировать взаимоотношения партийно-государственного аппарата “режима нормализации” (“властных”, по терминологии автора) и чехословацкого оппозиционного движения (“безвластных”). В очерке представлена типологизация оппозиции с выделением двух ее течений – радикального и реформистского, проанализированы программы различных общественных и политических сил по демонтажу “режи-

ма нормализации". Весьма ярко представлено студенческое движение. Анализ событий проведен буквально по дням, с анализом малейших изменений во взаимоотношениях "властных" и "безвластных", что является несомненным достоинством работы.

Оставив "за кадром" события 1990–1992 гг., когда произошел распад Чехо-Словацкой Федеративной Республики, авторы монографии перешли непосредственно к событиям последнего времени. История Чешской Республики первого десятилетия ее существования написана Э.Г. Задорожнюк и Я.В. Шимовым, раздел по Словакии – Э.Г. Задорожнюк. Указанные разделы написаны в одном ключе и представляют собой анализ политической ситуации в указанных странах. В разделе по Чехии проведен анализ основных политических сил, их реструктуризации, системы политических партий, тактике оппозиции и предвыборной борьбы. Уделено внимание возникновению связей между основными политическими субъектами и определенными слоями чешского общества, что позволило сделать вывод о природе основного политического конфликта в обществе: он был связан, по мнению авторов, с экономикой, ролью в ней государства, социальным неравенством и представлениями о социальной справедливости (Т. 2. С. 338–339).

В другом очерке представлено развитие общественно-политической системы Словакии, причем центральное внимание вполне обоснованно уделено премьер-министру В. Мечьяру. Рассматривая "фактор Мечьяра", Э.Г. Задорожнюк выделяет, с одной стороны, четко просматриваемые в его политическом курсе черты авторитаризма и манипуляторства, и в то же время подчеркивает, что "он уходил с властных позиций не столько под внешним давлением Запада, сколько вследствие легальных процедур, теряя поражение на выборах" (Т. 2. С. 424).

Анализ политической ситуации в Чехии и Словакии 1990-х – начала 2000-х годов проведен весьма полно и обстоятельно. Другие стороны жизни чешского и словацкого общества этого периода представлены еще в одном очерке, напи-

санном Н.В. Коровицыной. Озаглавлен он "Чехи и словаки в общественных трансформациях второй половины XX века" и представляет собой анализ социально-демографической структуры чешского и словацкого общества и его социокультурной эволюции. Н.В. Коровицыной удалось проанализировать базовые ценности нескольких поколений чехов и словаков, уделив много внимания существующим различиям между этими двумя народами, а также динамике религиозности, демографическому поведению и типам воспроизведения населения. Отдельно рассказано об особенностях восприятия системных изменений конца XX в. чехами и словаками. Н.В. Коровицына выделяет три этапа модернизирующих трансформаций чешского и словацкого обществ и связанные с ними волны мировоззренческих сдвигов в направлении материализации сознания, причем первые две были связаны с формированием индустриально-технологической и городской культуры, а третья пришла на период капиталистических преобразований (Т. 2. С. 504). При этом модернизационные трансформации второй половины XX в. и интеграционные процессы в Европе способствовали усилинию культурного единства "группы народов "перекрестка" континента" (Т. 2. С. 536).

В рецензируемой монографии много внимания уделено чешской и словацкой культуре. Автором ряда очерков – о культуре первой половины XX в., Второй мировой войны и второй половины XX в. – является Г.П. Мельников. При этом по своему объему указанные разделы весьма значительны, написаны с привлечением большого количества фактического материала и включают в себя анализ всего культурного спектра – литературу, изобразительное, декоративно-прикладное искусство, скульптуру, архитектуру, музыку, кино. Г.П. Мельников анализирует различные культурные течения, уделяя особое внимание "дискурсу модерна как цивилизационной модели" (Т. 1. С. 219). Первую половину XX в. автор считает периодом расцвета национальных культур чехов и словаков, периодом создания ценностей "непреходящего значения во всех сферах

художественного творчества и гуманистического знания” (Т. 1. С. 218). В этом плане очерки Г.П. Мельникова значительно углубляют наши познания в области чешской и словацкой культур. Последнее весьма полезно, ведь для широкого круга читателей гуманитарной литературы, на которых, наряду со специалистами, и рассчитана книга, чешская культура соотносится лишь с именами Я. Гашека и К. Чапека (некоторые вспомнят еще пражанина Ф. Кафку и эмигранта М. Формана), а о словацкой культуре большинство не знает вообще ничего. Стоит подчеркнуть, что материал очерка о культуре чехов и словаков во второй половине XX в. одновременно дополняет разделы монографии о социалистической Чехословакии. Г.П. Мельников весьма обстоятельно анализирует различные периоды развития культуры. Так, касаясь чешской культуры, он отмечает специфичность каждого периода – симбиоз левого искусства и левой оппозиционности 1950-х годов (Т. 2. С. 432), возрождение модернистско-авангардно-

го дискурса в 1960-е (Т. 2. С. 436), расщепление культуры на официоз, диссидентство, “центр”, эмиграцию в “период нормализации” (Т. 2. С. 452), постмодернизм в качестве главного направления в постсоциалистическом периоде (Т. 2. С. 452).

Однако отмеченные недостатки отнюдь не снижают общей ценности проведенного исследования, главными достоинствами которого является обстоятельный анализ узловых проблем чешской и словацкой истории и особенностей социально-политической ситуации в различные исторические периоды. Анализируя расклад политических сил в межвоенной и послевоенной Чехословакии, авторы монографии сделали попытку выделить в данной области основные характерные тенденции, в частности, определить место коммунистической партии, а также проследить динамику взаимоотношений чешских и словацких политических сил на протяжении всего XX в.

© 2006 г. Е.Ю. Борисенок



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Славяноведение, № 5

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “СТОЛИЦА И ПРОВИНЦИЯ В ИСТОРИИ РОССИИ И ПОЛЬШИ”

За последние годы сотрудничество России и Польши в области науки было отмечено несколькими значительными событиями, оставившими заметный след в культурной и общественной жизни обеих стран. Отметим только крупнейшие форумы: “Дни польской науки в России” (2001) и “Дни российской науки в Польше” (2004), центральные мероприятия которых проходили в Москве и Санкт-Петербурге, в Варшаве и Кракове, охватив и другие научные центры.

Плодотворно развивается и сотрудничество российских и польских историков. Свидетельством этому стала проходившая под патронажем мэра Москвы Ю.М. Лужкова Международная научная конференция “Столица и провинция в истории России и Польши” (Москва, 13–15 сентября 2005 г.). Ее организовала двусторонняя российско-польская Комиссия историков при поддержке Департамента международных связей г. Москвы, пригласившего для выступления на конференции вице-мэра Кракова К. Буяковского, представителей Российского гуманитарного научного фонда и Института славяноведения РАН. Названная 32-я конференция, проводимая Комиссией историков России и Польши, состоялась в год 40-летия Комиссии, основанной в 1965 г.

О вкладе Комиссии в российско-польское научное и культурное сотрудничество, открывая конференцию 13 сентября, говорили во вступительном слове, приветствуя участников и гостей, ее со-

председатели Почетный доктор РАН, профессор *В. Сливовская* (Варшава) и член-корр. РАН, профессор *В.К. Волков* (Москва). Однако, естественно, в центре внимания всех выступивших на открытии была вынесенная в заглавие тема конференции. Так член-корр. РАН *Я.Н. Щапов* (Москва) отметил, что на протяжении всей своей истории Комиссия поднимала актуальные научные вопросы, имевшие к тому же большое общественное и практическое значение. Поставленная на конференции проблема, по его словам, непосредственно связана с процессами социальной трансформации, развивающимися в российском и польском обществе. Город как центр, дающий импульс структурным преобразованиям по всей стране, роль муниципальных объединений как субъектов общественного развития, наконец, насущные проблемы экологии городской среды, ее хозяйственной и коммунальной инфраструктуры, а также сферы народного образования, культуры и искусства, многообразная городская повседневность – все это в совокупности составляет комплекс сложнейших научных проблем, в решении которых фундаментальная и прикладная наука идут рука об руку с практиками муниципального управления и городского хозяйства. Выступавший отметил роль Москвы как исторического и политического центра России, крупнейшего мегаполиса нашей страны, лидера движения за подлинное городское самоуправление, а так-

же значение опыта российской столицы в этих областях.

От имени мэра и правительства Москвы к участникам конференции обратился *В.В. Данилин*. Охарактеризовав спектр международной деятельности Москвы, он подчеркнул, что на муниципальном уровне столица России выступает за сохранение и развитие традиционных дружественных связей с Варшавой, Krakowem и другими польскими городами, за наполнение этих связей живыми практическими делами. С этой точки зрения, обмен научными трудами и научными изысканиями является важным элементом сотрудничества. Эта мысль получила развитие в выступлении посла Республики Польша в России *С. Меллера*, отметившего, что человеческие контакты формируют климат отношений между народами и государствами. Причем, по его словам, наиболее ценными и позитивными являются профессиональные контакты между специалистами. Сотрудничество польских и российских историков, развиваемые ими добрые традиции, говорил посол, сегодня особенно важны для отношений Польши и России, когда как самими историками, так и политиками и публицистами выдвигаются новые, зачастую контроверсивные интерпретации некоторых страниц истории Польши и России, а также отношений между нашими народами. Как историк по профессии посол высказал убеждение, что общественные дискуссии о тех или иных событиях в истории не должны давать повода для конфронтаций, и что он хотел бы видеть в качестве символа взаимного уважения национальных традиций русских и поляков, бережного отношения к их исторической памяти: памятник Минину и Пожарскому в Варшаве и памятник Тадеушу Костюшко в Москве.

Затронутые в речах на открытии конференции темы были в центре представленных на конференции докладов и развернувшейся дискуссии, что стало свидетельством их научной и общественной актуальности. Так о значении исторической памяти народов и суждений ученых-историков, их воздействии на состояние новейших российско-польских отношений говорил в докладе “40 лет Комиссии

историков России и Польши. Опыт и перспективы российско-польского научного сотрудничества в области исторических наук” *В.К. Волков*. Остановившись, в частности, на дискуссии конца 1980-х годов о “белых пятнах” в российско-польских отношениях, он констатировал, что Комиссия историков призвана способствовать тому, чтобы память о трагическом прошлом не стала инструментом в руках недальновидных политиков и безответственных политиков.

Проблема исследования исторической роли Москвы и ее сегодняшнего места в сотрудничестве с Польшей была поставлена в докладе *Б.В. Носова* (Москва) “Москва – центр научных и культурных связей России и Польши”. В нем были охарактеризованы основные исторические этапы сотрудничества российских и польских ученых и деятелей культуры, причем на каждом рассмотренном этапе главное внимание былоделено взаимодействию науки и культуры с общественностью Москвы, ее формирующими муниципальными структурами, а также связям Москвы как важнейшего городского центра с польскими городами, российской и польской провинцией.

Как отмечалось в докладе, особенностью современного развития Москвы как научного и культурного центра и центра сотрудничества в этой области с Польшей стала, с одной стороны, научная интеграция столицы и провинции, а с другой – преодоление национальных границ и формирование в результате обоих процессов единого научного пространства. Весьма противоречивая по своим последствиям эмансиляция науки и культуры от опеки государства ставит их перед внутренним императивом отклика на общественные потребности, поиска взаимодействия с самыми различными общественными структурами. Эта тенденция оказалась созвучна новой роли муниципальных органов в современном гражданском обществе в России и в Польше, достойным примером этому становится политика правительства Москвы, направленная на поддержку науки и культуры. Без современной науки и культуры Москва не сможет стать подлинным центром кристаллизации постиндустриаль-

ного общества в России. Экономика Москвы заинтересована в высокотехнологичном производстве, в создании которого науке принадлежит исключительная роль как в области передовой организации труда и управления, так и в создании новых технологий: от фундаментальных разработок – до внедрения. Наконец, современное городское хозяйство требует научного прогнозирования и моделирования социальных и демографических процессов, динамики экологической ситуации, исследования всех комплексов инфраструктуры города, в частности и с целью поиска оптимальных методов разрешения муниципальных проблем. Во всех перечисленных областях российскими и польскими учеными накоплен ценный опыт и получены апробированные результаты.

Представленные на конференции доклады отразили ряд проблемных комплексов, начиная хронологически от Средних веков – и до наших дней, например, политической и идеологической роли столичных центров X–XVI вв., когда закладывался фундамент российской и польской государственности, основы ее политической идеологии. Этот процесс был освещен в докладах С. Былины (Варшава), М.Е. Бычковой (Москва), З. Далевского (Варшава), А.Л. Хорошкевич (Москва). В центре их внимания были конкретно исторические формы взаимоотношений народа (общества) и публичной власти, нашедшие отражение в статусе столичного города, отождествляемого теперь с монархом и государством. Как показала А.Л. Хорошкевич, Москва в сознании европейцев XVI в. не только в полной мере отождествлялась с Россией, но и дала государству свое название. В то же время признание государя элитами и населением столичного центра становилось в политике и идеологии Средневековья условием установления легитимной верховной власти. Вместе с тем, как на примере средневекового Krakowa отмечал С. Былина, в народном сознании на долгие века утвердилось освященное кульминацией почитаемых в народе святых, представление о столичном городе не только как о политическом центре и резиденции монарха, но и как о центре об-

щинной, земской жизни и народного суверенитета, в известной мере, отделенном от государственной власти.

Проблема взаимодействия общества (народа, “земли”, провинции) с государственной властью (политическим центром), рассмотренная через призму взаимоотношений столицы и провинции в XV–XVII вв., была поставлена в докладах Б.Н. Флори (Москва) и И.П. Старостиной (Москва). В первом докладе был проанализирован процесс утверждения наместнического (воеводского) управления и вытеснение институтов сословного представительства из сферы городского и земского самоуправления в допетровской России, а также реакция на это “местного общества”. Во втором – законодательное оформление привилегий землевладельческого сословия (шляхты) Великого княжества Литовского в области местного управления и суда, что, в частности, способствовало правовой обособленности белорусских земель при сохранении политического господства Литвы. В обоих докладах был поставлен принципиальный вопрос об иерархии полномочий и оптимальном соотношении функций центральной власти, муниципального и местного самоуправления. Указанные проблемы в сочетании с источниковоедческими вопросами были затронуты в подготовленном на основе грамот архива Киево–Печерского монастыря, докладе С.М. Кастанова (Москва) об отношениях монастыря с верховными властями России и Польско–Литовского государства в XV–XVI вв., а также в докладе Б.Н. Харлашова (Псков) “Динамика развития города и посада Пскова в X–XVII вв. по данным археологических и письменных источников”. Названный доклад позволил непосредственно связать историю муниципальных структур города и их взаимоотношения с центральной властью с процессами формирования городской территории, взаимодействием города и округи, хозяйственной деятельностью населения. Отмеченные процессы исследованы докладчиком в “привязке” к местности и городской топографии. Значение доклада состоит еще и в том, что он позволяет продемонстрировать место археологических исследований в

современном городе, их роль в эффективном решении градостроительных и иных муниципальных проблем, методы оптимального сочетания археологических изысканий с проводимыми в городе строительными и другими работами, с актуальными задачами охраны памятников истории и культуры, в том числе и культурного слоя.

Второй рассмотренный в докладах проблемный комплекс связан с эпохой разложения в России и Польше сословного строя, начала формирования буржуазных наций в первой половине XIX в. (до начала 1860-х годов). Особенностью этого периода было также то, что в конце XVIII в. Россия, Пруссия и Австрия разделили между собой земли Речи Посполитой. На небольшой их части в начале XIX в. было образовано герцогство Варшавское, территории которого по постановлению Венского конгресса была включена в состав Российской империи (именуемая официально Царство Польское, Королевство Польское, а также в дальнейшем – Привислинский край). Новая эпоха кардинально изменила как социальную, так и территориальную, и региональную структуру и России, и Польши, изменила облик и социально-политические функции как столицы, так и провинции, наложив свой характерный отпечаток на дилемму восприятия столицы и провинции в общественном сознании не только современников, но и последующих поколений. С указанным периодом самым тесным и непосредственным образом связан третий проблемный комплекс, хронологически относящийся ко времени с 1860-х годов – до Первой мировой войны, посвященный эпохе буржуазных реформ и утверждения капитализма как в России, так и на польских землях. Рубежом между этими двумя периодами стало падение в 1861 г. крепостного права в России и Польское национальное восстание 1863 г.

В связи с этими двумя периодами, охватывающими конец XVIII – начало XX в., одно из центральных мест на конференции занял доклад Е. Едлицкого (Варшава) – “Столица и провинция в сознании народа, лишенного государственности. К вопросу об историческом содер-

жании категорий”. Применительно к Польше, как парадоксально утверждал докладчик, понятия “столица” и “провинция” в Новой истории являются относительными и “определяются точкой зрения воспринимающего субъекта”. С одной стороны, утверждается рационально выстроенная административная структура центрального и местного управления, а с другой – Варшава год от года теряет интеллектуальную энергию. В условиях разделенной страны польская элита тяготеет к европейским центрам, а Париж после 1831 г. на два десятилетия становится столицей польской политики и культуры. Крупный город воспринимается шляхетской провинцией как “питомник иноземных нравов”, враждебный подлинным национальным традициям. Основываясь на этом, черпающая в провинции силы оппозиция правительству Любецкого критикует проводимые в Королевстве Польском после 1815 г. умеренные либеральные реформы. Поставленные Е. Едлицким вопросы вызвали оживленную дискуссию, в ходе которой говорилось, что относительность понятий “столица” и “провинция” и те явления, которые были отмечены докладчиком применительно к Польше, были характерны и для других европейских стран, хотя и с учетом исторической и национальной специфики. Например, для России также была свойственна противоположность “национальной” Москвы и “космополитичного” Петербурга или антиномия патриархальной провинции и предпринимательской, динамичной столицы. Описанные явления были характерны для других стран периода модернизации, в целом сопровождавшейся интенсивной социальной стратификацией, разрушением традиционных укладов в экономике, социальной структуре и общественном сознании. Примечательно, что эти процессы шли в России и в Польше в XIX в. рука об руку с формированием органов муниципального управления, в ходе которого закладывались не только традиции и исторический облик муниципального самоуправления сегодняшнего дня, но и накапливался бесценный опыт решения муниципальных проблем в

условиях нарождающихся рыночной экономики и гражданского общества.

Различные стороны развивавшегося в первой половине XIX в. процесса модернизации, роли в нем столичных и провинциальных центров были рассмотрены в ряде докладов. Теоретические вопросы взаимодействия формирующихся буржуазных русской, польской и украинской наций затронул *Л.Е. Горизотиов* (Москва). Особенности развития городов России и Польши как торговых центров всероссийского и европейского рынка в первой трети XIX в. исследовали *Л.П. Марней* и *Н.В. Пиотух* (Москва). Об общественной деятельности поляков, их роли в развитии просвещения, науки и культуры в столичных и провинциальных центрах России говорилось в докладах *С.М. Фалькович* (Москва) и *И.И. Шарифжанова* (Казань). Россиянам в Королевстве Польском были посвящены доклады *В. Цабана* (Кельцы), *Ст. Веха* (Кельцы), *Г.П. Бомбяка* (Варшава). Авторами были поставлены проблемы сравнительного изучения столичных и провинциальных социальных слоев (интеллигенции, предпринимателей, чиновничества), политической и общественной роли русского чиновничества в польском обществе XIX в., исследованы различные модели адаптации выходцев из России к польской столичной и провинциальной среде. Особо хотелось бы отметить доклад *А. Бруса* (Варшава) и *В. Сливовской* “Сократ Старынкевич – российский генерал, глава городского управления Варшавы в 1880–1890-е годы”. Доклад этот связан с публикацией в 2005 г. в Варшаве музеем истории города дневников президента Варшавы за 1887–1897 гг. Сократ Старынкевич оставил по себе добрую память как талантливый инженер и организатор, честный и неподкупный человек. Под его руководством в городе был осуществлен ряд крупных проектов в области городского хозяйства, прежде всего строительство технически передового для своего времени водопровода. Проанализированный докладчиками технический и организационный опыт развития городской инфраструктуры Варшавы конца XIX в. не утратил и сегодня своего значения. Однако, по нашему мнению, не менее важны моральные и

этические принципы, которым неизменно следовал Старынкевич будучи во главе муниципальных властей Варшавы, заслужив благодарную память потомков.

Надо сказать, что приведенным примером отнюдь не исчерпывается перечень людей в России и Польше, внесших достойный вклад в обустройство городов и сел родной страны, в решение социальных и муниципальных проблем столичных центров и провинции. Эта тема получила развитие в докладах *М. Мициньской* (Варшава) – “Возродившие отчизну: польская провинциальная интеллигенция второй половины XIX и начала XX в.” – и *Я.Н. Щапова* – “Предпринимательская и просветительская деятельность московского фабриканта Ильи Васильевича Щапова (1846–1896) в Московской губернии”. В названных докладах в значительной степени новаторски исследована роль столичной и провинциальной интеллигенции в становлении рыночной экономики, формировании структур гражданского общества, развитии национального самосознания народов.

Последняя проблема, рассмотренная в контексте истории литературы и культуры, была в центре внимания *В.А. Хоррева* (Москва), выступившего с докладом «“Кресы” в современной польской прозе». Берущая начало еще в произведениях А. Мицкевича, тема “малой родины” в творчестве польских писателей неразрывно связана с историей Польши XIX и XX вв. не только потому, что она обращена в прошлое и выросла из впечатлений и воспоминаний детства и юности авторов. Воспетые ими “польские окраины” – литовские, белорусские, украинские земли занимают на протяжении XX в. особое место в общественном сознании польского общества, представлениях о взаимоотношениях национального ядра и периферии, столицы и провинции.

Москве советской эпохи были посвящены доклады *В.С. Парсадановой* (Москва) – “Москва весной–летом 1920 г.” – и *В.А. Невежина* (Москва) – “Москва в 1930–1940-е годы как центр презентации власти (Кремлевские приемы И.В. Сталина)”. Нарисовав яркую картину экономической и общественно-политической ситуации в советской сто-

лице и обыденной жизни москвичей на пике политики военного коммунизма, В.С. Парсаданова остановилась, в частности, на деятельности Московского Совета по решению продовольственных, тощливых, санитарных проблем, по борьбе с эпидемиями и налаживанию городского хозяйства, развитию хозяйственных связей с Подмосковьем. В докладе было показано нарастание недовольства москвичей политикой военного коммунизма. Однако, как показано в докладе, надвигающийся кризис был приостановлен советско-польской войной 1920 г. Причем впервые со времени начала Гражданской войны лозунги защиты Советской власти и международной пролетарской солидарности были дополнены советскими идеологами призывами в национальном духе к защите России.

В докладе В.А. Невежина был поставлен вопрос о восприятии гражданами СССР (в первую очередь за пределами столицы) Москвы и образа советского руководства в лице Сталина. Докладчик показал как, организуя в Кремле парадные приемы военных, ударников производства, полярников, деятелей культуры

союзных республик, советские вожди использовали церемониал приемов для пропаганды культа Сталина, “единства партии и народа” для формирования представления о Москве как о родном городе всех советских людей, как столицы трудящихся всего мира. При этом одной из целей советских политиков было стремление идеологически преодолеть имманентное противоречие власти и общества, отображенное в общественном сознании, в частности, как противоположность столицы и провинции.

В заключение конференции был проведен “круглый стол” на тему: “Столица и регионы: тенденции экономической кооперации и социального развития”, посвященный современным актуальным структурным, демографическим, социальным, политическим и культурным проблемам городов России и Польши, проблемам мегаполиса Москвы и Подмосковья. В “круглом столе” принял участие вице-мэр Кракова *К. Буяковский*.

© 2006 г. *Б.В. Носов*

Славяноведение, № 5

Научный симпозиум “Йосип Юрай Штроссмайер”

В 2005 г. исполнилось 190 лет со дня рождения и 100 лет со дня смерти епископа Йосипа Юрая Штроссмайера (4 II 1815–8 IV 1905) – выдающегося хорватского политического, общественного и религиозного деятеля, организатора науки и просвещения, мецената. Эта дата широко отмечалась Хорватской Академией наук и искусств и Загребским университетом, организация которых тесно связана с именем Штроссмайера, хорватской церковью, служению которой он отдал много десятилетий, в том числе 55 лет на престоле епископии Джаково, его родным городом – Осиеком, а также рядом других весьма влиятельных на-

учих и общественных организаций и государственных структур. 19–21 мая 2005 г. проходили основные торжества, посвященные этим датам, центральным событием которых стал международный научный симпозиум, состоявшийся последовательно в Загребе, Джаково и Осиеке и организованный Хорватской Академией наук и искусств и епископией Джаково (сопредседатели – акад. М. Могуш и монсеньор д-р А. Шуляк). Прочитанные на симпозиуме доклады охватывали практически все аспекты многосторонней деятельности дьяковарского епископа, рассматриваемой в контексте европейского и локального политическо-

го и культурного развития второй половины XIX в.

Повышенное внимание к этим мемориальным датам демонстрирует не только интерес в Хорватии к своему прошлому и одному из наиболее значительных и значимых его персонажей, но и важный вектор развития современного хорватского общества в направлении большей культурной, конфессиональной, политической терпимости, толерантности и корректности, демонстрацией чего была свобода выражения самых разных, порой диаметрально противоположных суждений об основных идеях и соответствующих им направлениях деятельности Штроссмайера, как то: культурное объединение славянских народов, политическое объединение южных славян для создания конфедеративного самостоятельного государства и соединение православной и католической церквей. Определяя место Штроссмайера в истории, председатель Организационного комитета научного собрания акад. Ф. Шанек говорил во вступительном слове, что дьяковарский епископ “как представитель народа, наследовавшего элементы и западной, и восточной цивилизации и культуры ... является истинным предтечей современных экуменических поисков пути к единству и стремлений – при всех имеющихся различиях – к согласию и взаимодействию, свободных от груза столетних наслоений взаимного непонимания и противостояния” [1. S. 11].

Участники симпозиума представляли многие из стран, входивших в сферу интересов Штроссмайера. Неизбежная актуализация, происходящая из его политической, конфессиональной и культурной идеологии и деятельности, определяла (напрямую или в подтексте) содержание большинства докладов и давала возможность наблюдать вариативность современных предпочтений в Европе, прежде всего в центральной и юго-восточной ее части. Активное участие в симпозиуме представителей хорватской церкви позволило узнать скорректированное отношение современной католической церкви к взглядам и деятельности Штроссмайера.

Повышенное внимание в юбилейные дни к биографическим данным, поиск новых документов нашли отражение в докладах о самых ранних годах жизни Штроссмайера в Осиеке, и о самом городе времени его юности (*Ю. Мартинич, В. Матич*), о значении во всех его начинаниях его близкого друга известного хорватского историка Франко Рачки (акад. П. Стрчич). Во многом на основе нового архивного материала *С. Марьинович* рассмотрел отношения Штроссмайера с хорватскими банами Елаичем, Шокчевичем и Мажураничем, которые отличались взаимным интересом и поддержкой их политических взглядов и культурных программ.

Восстанавливая жизненный путь Штроссмайера, анализируя истоки его альтруизма, деятельной натуры и взглядов, акад. Х. Сироткович отметил, в частности, что родился он в Осиеке в бедной охорваченной семье, происходившей из верхней Австрии, а отец его был неграмотный, но ловкий торговец лошадьми. Этапным же для формирования взглядов Штроссмайера оказалось знакомство во время обучения в Пеште в 1930-е годы с идеями Яна Коллара о славянской взаимности, во многом обусловившее приход хорватского деятеля в иллирийское движение с его идеей национального единства южных славян. Югославянство Штроссмайера, на позициях которого он оставался в течение длительного времени, предполагало, по мнению Сиротковича, создание не унитарного югославянского государства, но “содружества”, т.е. союзного государства.

Масштабные политические начинания Штроссмайера, который с 1860 г. по сути предводительствовал хорватским национальным движением, являясь главой Народной партии, при его жизни не были реализованы. В этой связи заслуживает внимание представленный акад. Н. Станчичем анализ исторического контекста политической деятельности Штроссмайера, призванный прояснить его разочарование политической активностью и последующий отход от нее. Автор выделил два момента. Прежде всего это введение в Габсбургской монархии в 1867 г. австро-венгерского дуализма, ре-

шившее проблему венгерской самостоятельности, но тем самым определившее для Хорватии всего лишь место венгерской территориальной автономии и потому сведшее на нет усилия и программу Штроссмайера и его партии, направленную на федерализацию страны. Штроссмайер также ориентировал Хорватию на активную роль в решении Восточного вопроса, которое он увязывал с реализацией южнославянской идеи. Однако решения Берлинского конгресса (1878 г.) закрепляли усиление Австро-Венгрии, чего так опасался Штроссмайер, а противостояние позиций европейских стран в споре о роли Хорватии и Сербии в Восточном вопросе спровоцировали, по мнению докладчика, “столкновение хорватской и сербской политики”.

Доклад акад. А. Назор “Епископ Штроссмайер, папа Лев XIII и славянские апостолы Кирилл и Мефодий” (в соответствии с программой) был прочитан дважды – в Загребе и Джаково, что свидетельствует об особом отношении организаторов симпозиума к проблеме влияния культурных начинаний святых братьев на деятельность Штроссмайера по сближению католической и православной церквей. В Хорватии фактически до последнего времени сохранялось и развивалось кирилломефодиевское наследие – глаголическая письменность, церковнославянский язык, славянское богослужение, осуществляющееся по западной лiturгии. Поэтому не случайно, и А. Назор это особо подчеркивала, что именно в Кирилле и Мефодии Штроссмайер видел связующее звено между восточной и западной церковью, а их деятельность рассматривал как основу наиболее верного решения проблемы церковного единства. Одним из основных направлений его меценатской деятельности было приобретение для Югославянской Академии наук и искусств и издание средневековых глаголических рукописей. Благодаря усилиям Штроссмайера папа Лев XIII своей знаменитой энцикликой *Grande mundus* включил святых братьев (культ которых фиксировался ранее лишь в хорватских глаголических литургических текстах) в общекатолический календарь. В построенном им кафедральном

соборе в Джаково, посвященном, как сказано в славянской надписи над входом, “Славе Божией, единству церквей, согласию и любви нашего народа”, установлено несколько скульптурных изображений Кирилла и Мефодия, в том числе и в составе скульптурной композиции на надгробии Штроссмайера в крипте.

Активная политическая и культурная деятельность Штроссмайера, его обширные связи с политическими, государственными, религиозными деятелями разных стран и народов определили наличие блока докладов, в которых рассматривались особенности таких связей. Совершенно особая роль Штроссмайера в европейской политической жизни второй половины XIX в. признавалась политическим бомондом того времени. Министру итальянского королевского правительства Марко Минетти принадлежит известная оценка, ранжирующая политиков его времени: “Я имел возможность знать всех выдающихся людей нашего времени. О двух из них у меня сложилось представление, что они принадлежат к другой, отличной от нашей, породе; это Бисмарк и Штроссмайер” [2. Р. 89]. Эта фраза свидетельствала и о значимости для Италии деятельности дьяковарского епископа, которая в этом аспекте рассматривалась в докладе М. Прианте (Италия), выделившей отношение Штроссмайера к Италии как к “модели национального движения”, его роль в урегулировании отношений Италии с Ватиканом и внимание к епископу в связи с большим интересом, выражаемом в Италии к панславистским стремлениям на Балканах, хотя, по мнению автора, часто его имя без оснований связывалось с идеей основания особой славянской церкви.

Сложные отношения Штроссмайера с венгерскими церковными и политическими кругами рассматривались С. Слишковичем. С одной стороны, Штроссмайер был студентом теологического факультета в университете Пешта, а затем его профессором и позднее почетным доктором теологии, пользовался доверием и уважением у венгерских епископов. С другой стороны – всемерно противился

влиянию Венгрии на церковную жизнь в Хорватии (конфликты из-за противодействия в Венгрии установлению загребской архиепископии, назначению епископов в Хорватии, споры из-за территориальных границ епископий, церковного устройства в Боснии и Герцеговине и пр.). В отношениях с Венгрией Штроссмайер проявлял себя принципиальным политиком, готовым вместе с тем в трудных ситуациях к компромиссным соглашениям. Так, во время революционных событий 1848 г. он побудил бана Елаича выступить с войском против Венгрии. Позднее, опасаясь, что сильная централизация власти в Вене пагубно отразится на суверенитете хорватских земель, он обратился к Венгрии. Вместе с тем до-кладчик подчеркивал, что Штроссмайер полагал именно Венгрию ответственной за внешнеполитическое ослабление империи в целом, приведшее к дуализму и растущей мадьяризации. С. Маткович проанализировал, каким образом установление австро-венгерского дуализма в империи Габсбургов, обусловившее переосмысление geopolитического обустройства центральноевропейских земель, отразилось на политической идеологии Штроссмайера, сочетавшей, по мнению автора, стремление к политическому федерализму, с одной стороны, и к славянскому культурному единству, с другой.

В докладе “Штроссмайер и чехи” М. Шестак (Чехия) сосредоточил внимание на том аспекте деятельности Штроссмайера, который касался чешско-хорватских политических отношений. Автора прежде всего интересовала проблема становления славянской платформы как основы отношений хорватов и чехов в контексте идеологии австрославизма и австрофедерализма и в условиях процесса формирования наций. Деятельность Штроссмайера как представителя Народной партии показала, отметил докладчик, что и чешское и хорватское национальное движение в 1860-е годы позитивно принимало принципы национального равноправия и территориального единства в рамках реформированной (соответственно федерализованной) монархии. Причем Штроссмайер активно лоббировал права чешского народа. Чешские и

хорватские интересы соединялись против централизма Вены и дуализма Пешта. Провозглашение дуализма в 1867–1868 гг. означало и конец определенного этапа в чешско-хорватских отношениях. Альтернативой “проавстрийской” концепции явился выдвинутый Штроссмайером план тесного сотрудничества с Сербией для последующего создания в результате вооруженной акции южнославянского государства. Чехи же до конца жизни Штроссмайера сохраняли глубокое к нему уважение и почитание, что выразилось прежде всего в избрании его в конце XIX – начале XX в. почетным гражданином многих чешских городов и областей.

Подчеркнув в своем выступлении, что Штроссмайер “боролся за права всех, прежде всего славянских народов, в многонациональной Австро-Венгрии” [1. S. 31], В. Юдак и П. Седлак (Словакия) рассмотрели особенности этой деятельности в словацких землях. Они отметили значение встречи с Яном Колларом для становления мировоззрения Штроссмайера и его взглядов на славянскую взаимность. Особо были выделены его речь в защиту прав словаков в Вене 1860 г., за которую он был назван в Словакии “заступником и покровителем народа нашего словацкого”, его влияние на поставление на епископскую кафедру в Банской Бистице загребского каноника словацкого происхождения Степана Мойзеса, поддержку, в том числе и материальную, в создании Словацкой матицы.

В словенской литературе неизменной была и остается высокая оценка деятельности Штроссмайера, повлиявшего на процесс политического и культурного самоопределения словенского народа. Это подтвердил и доклад А. Ратена (Словения), в котором рассматривались также нюансы неоднозначного видения Штроссмайером политических и культурных перспектив Словении. В основном он поддерживал политическую программу так называемой Объединенной Словении (“Sjedinjena Slovenija”), способствовал, в том числе материально, основанию и работе Словенской матицы и многочисленных словенских народных читалиен. Вместе с тем Штроссмайер исходил

из того, что словенцы и хорваты “по Богу и природе” один народ, и высказывался за хорватскую этнополитическую принадлежность словенцев.

Болгария, как было показано в докладе *P. Божиловой* (Болгария), также была включена в планы Штроссмайера по религиозному объединению южных славян. Особо были отмечены его усилия, направленные на развитие болгарской культуры и просвещения и поддержку борьбы за национальное освобождение. Рассматривая связи Штроссмайера с представителями македонской культуры, акад. *Б. Ристовски* (Македония), сосредоточил основное внимание на роли епископа в фундаментальном издании сборника македонских и болгарских народных песен, подготовленного поэтом и фольклористом Константином Миладиновым.

Отличное от многих мнение о значении деятельности Штроссмайера было высказано акад. *Й. Печаричем* (Сербия и Черногория). Автор подчеркивал, что, вопреки устоявшемуся мнению, Штроссмайера нельзя считать духовным основателем Югославии – королевской, а затем коммунистической, поскольку его югославская идея включала три компонента, противоречивших принципам возникших позднее югославянских государств: столицей южнославянского образования Штроссмайер видел Загреб, включал в это образование Болгарию и стремился к сближению православных народов с Римом. Кроме того, обосновывая отсутствие взаимопонимания между Штроссмайером и сербами, автор подчеркивал, что с 1851 по 1897 г. Штроссмайер исполнял должность апостольского администратора католической церкви в Сербии, и в полной мере ощутил здесь “негативное отношение ко всему хорватскому и католическому” [1. S. 33]. Сугубо антисербские настроения Штроссмайера проявились, по мнению автора, в истории установления Иллирийской коллегии св. Иеронима в Риме (см. ниже) и в отношении Штроссмайера к господствующим сербским идеологемам того времени; автор выделил прежде всего его негативное восприятие великосербских стремлений обновления Душанова царства как

“анахронизм и заблуждение больного ума”.

О.А. Акимова (Российская Федерация) в докладе “Штроссмайер и Россия” показала, что отношение Штроссмайера к России определялось его представлением о ее ведущей роли в политическом и культурном обустройстве славянского, прежде всего южнославянского, мира, свободного от германской и турецкой зависимости. Последовательная принципиальность в отстаивании своей позиции, твердость духа, служение поставленной цели отражены в донесениях российских дипломатов и отмечают тексты его меморандумов, адресованных российскому правительству, приветствия в Киев по случаю празднования 900-летия крещения Руси, посланий римскому папе и других, направленных официальным лицам документов, конкретизирующих его позицию. Выполнение большой гуманистической миссии Штроссмайера наталкивалось на непонимание, подозрительность и недоверие к нему в самых разных политических и конфессиональных кругах. Он хорошо понимал, что Россия не готова к реализации связываемых с ней ожиданий, и в сознании этой безысходности – сила и трагичность фигуры дьяковарского епископа.

П. Журек (Польша), рассматривая отношение Штроссмайера к полякам, продемонстрировал их двойственность. Они во многом определялись его “русофильством” и отсюда – антипольская направленность многих политических сентенций Штроссмайера, осуждавшего, по словам докладчика, “польскую борьбу с русской оккупацией”. Вместе с тем Штроссмайер в молодости испытал влияние польского романтизма, впоследствии находился в тесных отношениях с польскими эмигрантами в Вене, Риме и Париже, а с Адамом Сапегой его связывала “особая политическая дружба”.

Сугубо враждебное отношение Штроссмайера к некоторым нехристианским конфессиям и их носителям не помешало откровенному обсуждению этих проблем. В докладе *M. Артуковича* “Штроссмайер, евреи и иудаизм” корни этой враждебности в отношении евреев и иудаизма возводились к традиционной

христианской позиции епископа, согласно которой евреи не только предали посланного Богом Миссию, но и убили его, само христианство считали язычеством и стремились к созданию вселенского иудейского царства; за этот грех они несут коллективную ответственность и неизбежное наказание. Эта “печать проклятия” переносилась Штроссмайером на современных ему евреев и была, по мнению автора, основной причиной неприятия им браков между христианами и иудеями; в них он видел опасность разрушения таинства брака и распространения гражданских браков. Проявлениями природной греховности евреев Штроссмайер считал дележ ими богатства, влияние на журналистику, на них он возлагал ответственность и за терроризм. В то же время имеются данные и о том, что он изумлялся трагичности истории евреев и верил в спасение всех людей, в том числе и евреев.

Штроссмайер придерживался точки зрения на ислам (З. Хасанбегович, Босния и Герцеговина) как “иноверство, заблуждение и вызов христианству, которое необходимо систематически и всемерно уничтожать” [1. S. 52]. Воплощением ислама была для него Османская империя, и, по мнению автора, австрославизм Штроссмайера имел антиисламскую и антиосманскую направленность, поскольку федерализация Габсбургской монархии, как ее представлял дьяковарский епископ, привела бы (помимо государственного обустройства входивших в нее славянских народов) и к решению Восточного вопроса путем вытеснения ислама и османов из Европы.

Отношение Штроссмайера к протестантизму (З. Ладич) нашло наиболее полное отражение в речах на Первом ватиканском соборе 1869–1870 гг., в которых он полагал обязанностью католической церкви мирным путем вернуть протестантов в ее лоно, чтобы восстановить тем самым ее единство. Причину же самого возникновения протестантизма и последующего конфессионального отделения государств Северной Европы Штроссмайер видел в упадке Римской курии эпохи Ренессанса.

Штроссмайер как предтеча современного экуменизма был представлен в докладе Т.З. Тенишека, который особо отметил опередившие свое время взгляды католического епископа, отрицавшего в противовес большинству католических теологов еретичество других христианских конфессий, прежде всего православной и протестантской церквей, и не только призывающего к церковному единству, но и много сделавшему для установления межконфессиональных связей.

Тема Первого ватиканского собора 1870 г., участия в нем Штроссмайера в связи с безоговорочным неприятием епископом поддерживаемого папой Пием IX и большинством участников собора догмата о непогрешимости папы, затрагивалась во многих выступлениях и специально рассматривалась в двух докладах. А. Тюилье (Франция) подчеркнул, что Штроссмайер с самого начала аргументировал свою позицию тем, что подобное решение в случае его принятия противоречило бы епископской коллегиальности и традиции вселенской церкви. Тем самым он оказал поддержку французской делегации на соборе, которая полагала, что провозглашение догмата о непогрешимости папы углубило бы разделявшую церковь и тогдашнее общество пропасть, возникшую в эпоху Просвещения и Великой французской революции. Иная, примиряющая позиция Штроссмайера и большинства участников собора, точка зрения на проблему была высказана Н. Икичем. Проследивая историю отношений папы Пия IX и дьяковарского епископа, автор подчеркивал, что изначально они отличались взаимным расположением, а конфронтация, возникшая из-за догмата о непогрешимости папы, основывалась более на двусмысленной интерпретации на соборе самого этого понятия, не приемлемого для Штроссмайера скорее по форме, нежели по содержанию. Штроссмайер рассматривал его с точки зрения единства и неделимости всего епископата, и характерно, что Второй ватиканский собор принял формулировку, которая могла бы оказаться близкой Штроссмайеру и в которой подчеркивалась коллегиальность

как основа церковной структуры – неприменимость епископата во главе с папой при полном его авторитете.

В целом богословское мировоззрение Штроссмайера анализировалось в докладе *A. Чечатки*, в котором автор понимание епископом Церкви и ее исторического предназначения представил следующим образом: “Жизненно связанная с делом спасения во Христе, Церковь заявляет о себе как таинство спасения и единства человеческого рода”, для чего необходимы единство апостольского собрания и коллегиальное осуществление папской и епископской власти; таким образом единство оказывается основой Церкви, плодом и даром дела спасения, из чего следовала и необходимость диалога и примирения католической и православной церквей.

Ряд специальных докладов был посвящен отношениям Штроссмайера с католическими иерархами, прежде всего с папами и верхнебоснийским, а затем и загребским архиепископом Иосипом Стадлером. Заслуживал внимания анализ отношений Штроссмайера и Стадлера в контексте теологических споров второй половины XIX в. и их обусловленности политической ситуацией. В докладе *З. Грияка* архиепископ Стадлер был представлен сторонником традиций обновленной холастики, а Штроссмайер – либерального католицизма, что, по мнению автора, явилось поначалу причиной напряженности в их отношениях, но не помешало сближению в конце века их позиций по существу: антивенгерская и проавстрийская позиция и ориентация на сближение с хорватскими землями Боснии и Герцеговины в сфере политики; в сфере церковной жизни их объединяли прежде всего борьба за поставление хорватского архиепископа в Загребе (на место которого во многом усилиями Штроссмайера и Рачкого в 1894 г. был поставлен Стадлер), совместные усилия в деле сближения католической и православной церквей, борьба за сохранение определяющего хорватского влияния и хорватского имени для коллегии св. Иеронима в Риме. Специально этот последний аспект деятельности Штроссмайера был рассмотр-

рен в докладе *A. Шуляка*, который представил его в контексте многовековой истории Иллирийской конгрегации св. Иеронима в Риме, подготовившей не одно поколение хорватских священников и богословов, с одной стороны, и политico-дипломатических споров и конфликтов конца XIX – начала XX в., – с другой. Особое внимание автор уделил усилиям епископа по поддержанию различных форм организации хорватского клира в Риме и прежде всего по созданию нового общества – *Collegium Hieronymianum pro Chroatica gente*, а также проблеме его скорой реструктуризации под новым, “иллирийским” именем, которому в начале XX в. придавалось иное, сербское этно-культурное значение.

Одна из центральных проблем, обсуждавшихся на симпозиуме – влияние Штроссмайера на духовное развитие хорватского общества. Специально была рассмотрена роль Штроссмайера в создании Загребского университета (*B. Еролимов*). Акад. *D. Елич* исследовал значение деятельности епископа для развития хорватской литературы – и как ее мецената, и как автора путевых заметок, эссе, речей, и как персонажа поэтических и мемуарных сочинений. Анализировалась помощь Штроссмайера в организации и деятельности хорватских литературных сообществ, способствование в издании фольклорных текстов, сочинений далматинской литературы, служебной литературы и пр. (*X. Миханович-Салопек*).

Большой интерес вызвала серия искусствоведческих докладов (*З. Макович, Д. Дамьянович, И. Крашевац*), посвященных главным образом двум темам – особенностям художественного оформления кафедральной церкви Джакова как отражающим культурные и политico-конфессиональные взгляды Штроссмайера и художественным предпочтениям епископа как собирателя, мецената и просветителя. *Дж. Ванджура* отметил, в частности, что принципы его собирательской, выставочной и информационной деятельности были безупречны с точки зрения современного музееведения, построенная им для его собрания (в основном итальянской ренессансной живописи) га-

лерия сыграла важную роль в развитии хорватского искусствознания, а просветительская идея пропаганды искусства в народной среде опередила свое время.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Međunarodni znanstveni skup "Josip Juraj Strossmayer" povodom 190. obljetnice

rođenja i 100. obljetnice smrti. Sažeci rada-va. Zagreb, 2005.

2. Laveleye E.de. La péninsule des Balkans. Bruxelles, 1886. V. 1.

© 2006 г. О.А. Акимова

Славяноведение, № 5

Традиции белорусоведения. Российско-белорусский проект по истории науки

Благодаря партнерству двух государственных фондов, поддерживающих науку – Российского гуманитарного научного фонда и Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований – ученые соседних стран получили возможность осуществления совместных проектов. Эта форма сотрудничества тем более продуктивна, что позволяет объединять усилия специалистов, независимо от их ведомственной принадлежности к системе академий наук, высшей школы, архивов и т.д.

Двухлетний российско-белорусский проект “Белорусистика в российском и белорусском академическом славяноведении конца XIX – первой половины XX в.: традиции и современность” (грант РГНФ–БРФФИ № 05–03–90301а/Б) нацелен на разработку процесса становления белорусоведения в широком историко-научном контексте и в рамках продолжительного периода. В центре внимания – ключевые фигуры ученого мира с их профессиональными и человеческими судьбами, творческими поисками, взаимоотношениями друг с другом, политикой и властью. События прошлого, наследие и традиции достаточно отдаленных эпох изучаются в соотнесении с вызовами постсоветской научной и общественно-культурной действительности. Рабочие планы авторского коллектива предусматривают выявление и публикацию архив-

ных документов, проведение совместных обсуждений и издание сборника исследований.

Подобно главным объектам изучения – славяноведению и белорусскому его разделу – проект носит междисциплинарный характер, осуществляясь силами специалистов различного научного профиля: историков, культурологов, филологов. Присутствующее в его названии *академическое* славяноведение не вводит формального, ведомственного ограничения. Речь о необходимости сфокусировать внимание на ключевых фигурах и высших научных достижениях, так или иначе связанных с академиями наук и ведущими университетами.

Обосновывая проект, его инициаторы и соруководители (д-р ист. наук, профессор РГГУ, ведущий научный сотрудник Института славяноведения РАН Л.Е. Горизонтов и д-р филол. наук, заведующий отделом славистики Института искусствознания, этнографии и фольклора НАН Беларуси А.В. Морозов) стремились, с одной стороны, избежать мелкотемья, маргинальных сюжетов, а с другой – не повторять опыта тех, кто, заявляя нечто глобальное, при ближайшем рассмотрении мало чем обогащал науку. Избранное историко-научное направление не только не исключает, но прямо предполагает выход на общественно-политиче-

скую проблематику, прежде всего – через вечную проблему “ученый и власть”.

Рассматриваемый период сыграл определяющую роль в становлении белорусской нации, проходившем в весьма непростых условиях. Развитие белорусского национального самосознания не вызывало в русском обществе XIX начала – XX вв. такого отклика, как украинофильство, и тем не менее интерес к нему наметился уже тогда, особенно в связи с событиями 1863–1864 гг. на белорусских землях. Исключительно существенным представляется получение целостной картины последних дореволюционных и первых советских десятилетий.

Несмотря на то, что верхним хронологическим рубежом проекта служит середина прошлого века, в процессе работы все более очевидно обнаруживает себя связь между историей и современностью. Многие ключевые вопросы проекта не утрачивают своей злободневности и дискуссионности в настоящее время. Анализ постсоветских оценок белорусоведческого наследия во многом проясняет нынешние умонастроения научного сообщества. Обращение к российско-белорусским научным связям позволяет определить истинный масштаб ряда ученых, творивших в русле национального возрождения или мысливших имперскими категориями.

Биографический и связанные с ним социально-психологический и микроисторический методы исследования в ходе работы над проектом выполняют роль незаменимой линии, восстанавливая в законных правах человеческое измерение истории науки. Большое внимание уделяется научным школам – сформированным как через связь “учитель” – “ученик”, так и посредством общности подходов к предмету изучения. Следует отметить, что в судьбах белорусистики весьма существенным оказывается влияние научных школ, получивших развитие на почве российской славистики.

Отчетливо определился архивоведческий аспект реализации проекта, его направленность на введение в оборот нового материала. Этому в немалой степени способствует то обстоятельство, что значительная часть членов коллектива имеет

архивоведческое образование либо является работниками архивной системы. Многие российские участники так или иначе связаны с Историко-архивным институтом РГГУ. Чрезвычайно ценен имеющийся у коллектива опыта работы в петербургской и московской частях Архива РАН. В среде наших белорусских коллег возникла инициатива заключения двусторонних договоров с рядом российских архивов на предмет выявления и публикации хранящихся в них материалов по теме проекта. Архивные материалы позволяют детально уяснить процесс формирования собственно белорусского славяноведения в тесной связи с российским и в то же время в известной оппозиции к последнему.

В ходе изучения истории русско-белорусских научных связей обозначилась также украинская линия, тем более важная, что в своем развитии белорусская историография испытывала определенное воздействие украинской исторической науки. Участниками проекта принято решение уделять пристальное внимание украинским экскурсам, что представляется немаловажным и для понимания судеб науки на постсоветском пространстве. В частности, предметом изучения явились переписка М.О. Кояловича с М.В. Юзевовичем и М.В. Довнар-Запольского с М.С. Грушевским, полемика М.О. Кояловича с Н.И. Костомаровым, русско-украинские научные связи 1917 – начала 1930-х годов.

Итоги работы за год были подведены на “круглом столе”, состоявшемся в Минске 11 ноября 2005 г. Обсуждение подтвердило несомненную плодотворность работы в формате двустороннего сотрудничества с точки зрения удачного выбора темы и жанра исследования, высокой степени взаимодополняемости участников проекта, готовности авторского коллектива к решению стоящих перед ним научных задач. Был намечен к публикации ряд документов. Различия в круге профессиональных интересов, исследовательском опыте, оценке общественных процессов и явлений не помешали достижению взаимопонимания, в чем видится несомненная польза как для науки

каждой из наших стран, так и для дальнейшего сотрудничества.

И с российской, и с белорусской стороны в рабочие группы входит по четыре исследователя. Помимо грантодержателей, к участию в итоговом сборнике предполагается привлечь еще ряд российских и белорусских коллег, в том числе ученых старшего поколения, готовых поделиться своими уникальными воспоминаниями о 1940–1950-х годах.

Обратимся теперь к индивидуальному вкладу каждого из членов коллектива, промежуточным результатам их работы и планам на 2006 г.

Сформированная на базе Отдела восточного славянства Института славяноведения РАН российская группа ведет работу по проекту на базе внушительного научного задела, который в течение 2005 г. удалось существенным образом увеличить. Вслед за увидевшей свет в конце 2004 г. монографией М.А. Робинсона “Судьбы академической элиты: отечественное славяноведение (1917 – начало 1930-х годов)” (отв. ред. Л.Е. Горизонтов) автором завершена работа над докторской диссертацией “Российское славяноведение: судьбы научной элиты и учреждений Академии наук (1917 – начало 1930-х годов)”, одна из глав которой посвящена русско-белорусским, а другая – русско-украинским научным контактам. Е.П. Аксенова – автор “Очерков из истории отечественного славяноведения. 1930-е годы” (отв. ред. М.А. Робинсон, М., 2000) и обширной монографии “А.Н. Пыпин о славянстве” (отв. ред. Л.Е. Горизонтов, М., 2006), в которой особое место отведено белорусоведческим и украиноведческим штудиям выдающегося русского ученого. Планирует завершить к 2007 г., когда будет отмечаться 60-летний юбилей Института славяноведения РАН, свою монографию о советской славистике 1940-х годов М.Ю. Досталь.

Для Отдела восточного славянства Института славяноведения РАН принципиально важными моментами явились приобщение специалистов по истории науки к изучению белорусского, наименее исследованного российскими славистами,

материала, а также общение с минскими коллегами.

Л.Е. Горизонтов сосредоточился на анализе интерпретаций западнорусизма – теме, имеющей в структуре проекта сквозной и, можно сказать, стержневой характер. К тому же она принадлежит к числу тех, взаимопонимание в изучении которых служит необходимым условием для сотрудничества белорусских и российских гуманитариев.

Оформившийся идеологически и функционированный исторически во второй половине XIX в., западнорусизм стал мишенью для критики в 1920-е годы и явился объектом повышенного внимания после обретения Белоруссией государственной независимости. В меню идентичностей Белоруссии тяготеющий к проекту общерусского триединства западнорусизм выступает конкурентом белорусского национализма. Однако их взаимоотношения, подобно реляциям малороссийства и украинства, не сводятся к сугубой конфронтационности: западнорусизм сыграл существенную роль в развитии собственно белорусской идентичности, а придерживавшиеся его ученые внесли поистине колоссальный вклад в развитие белорусистики. Сложностью феномена определяются неоднозначные оценки, которые он получает под пером авторов различных взглядов.

Основанное прежде всего на постсоветских материалах, исследование демонстрирует перекличку эпох, борьбу подходов, проверку доктрин общественной практикой и выработку, в конечном счете, научно выверенных ориентиров в понимании явлений ментальной природы. Оно позволяет представить общую историографическую и, отчасти, общественно-политическую ситуацию в современной Белоруссии.

Разработку славяноведением Российской империи проблематики Белоруссии, в конце XIX в. обобщил А.Н. Пыпин. В отличие от своего современника М.О. Кояловича, этот ученый, чье творчество в рамках проекта исследуется Е.П. Аксеновой, был ярким представителем либерального направления в российском славяноведении, решительно критиковавшим политику обрусительства.

Пыпин рассматривал Белоруссию как самостоятельный объект изучения, утверждая белорусоведение в качестве особой области знания. Он обосновал этапы изучения Белоруссии, дал достаточно полный и систематический обзор опубликованных трудов, познакомил с биографиями и творчеством многих исследователей. Собранные им сведения позволили сделать вывод, что изучение это в основном велось выходцами из Западного края или людьми, чья деятельность так или иначе была связана с Белоруссией.

Применяя сравнительно-исторический метод, Пыпин рассматривал проблемы национального развития белорусского народа в контексте как общеславянского возрождения, с которым обнаруживалось немало параллелей, так и представлений о триединой русской нации. Он констатировал запаздывание национальных процессов в Белоруссии по сравнению с другими славянскими народами, нерешенность языковых проблем.

Важное значение имеет вопрос об источниках, которыми пользовался учёный. В частности, Пыпин переписывался с белорусскими исследователями П.В. Шейном, Н.Я. Никифоровским, Е.Р. Романовым и другими, черпая из этой корреспонденции новые сведения о Белоруссии. Со своей стороны, Пыпин высказывал соображения по методике сбора и издания этнографических материалов. Учитывая объективные трудности, с которыми сталкивались местные исследователи, он оказывал им посильную материальную и организационную помощь.

Проведенная М.А. Робинсоном работа показала, что при изучении становления белорусской науки в 1920-е годы невозможно обойтись без реконструкции отношения к указанному процессу представителей русской академической элиты. Последние внесли огромный вклад во всестороннее изучение Белоруссии, налаживание ее научной жизни после революции. Так, один из основоположников академической белорусистики Е.Ф. Карский, принимая самое активное участие в основании университета в Минске и АН БССР, стремился привлечь к работе в Белоруссии А.И. Соболевского,

Б.М. Ляпунова, А.М. Селищева, П.А. Растрогуева. Научная среда действительно формировалась в столице республики не только из левой белорусской интеллигенции, но и немногочисленных приезжих ученых, среди которых выделялся своею активностью ученик Ляпунова П.А. Бузук.

Русские ученые живо реагировали на дискуссии, проходившие в среде белорусских исследователей на волне кампании белорусизации. Обращение к переписке Б.М. Ляпунова, Е.Ф. Карского, А.Г. Ильинского, А.И. Соболевского, А.И. Томсона и других позволяет прояснить их отношение к проблемам, обсуждавшимся на конференции, организованной в 1926 г. Институтом белорусской культуры. Русские слависты усматривали у своих белорусских коллег тенденцию к искусственному дистанцированию белорусского языка от русского и не находили серьезных научных оснований для пересмотра традиционной схемы развития всех восточнославянских языков из "прарусского" языка. Суждения русских специалистов зачастую оспаривались при помощи политических аргументов. Тем не менее, тесное русско-белорусское сотрудничество продолжалось до начала свертывания белорусизации и преследования "национальных демократов".

Особое место в истории контактов русских и белорусских ученых 1920-х годов принадлежит непродолжительному пребыванию в Минске Н.Н. Дурново, письма которого содержат много интересных наблюдений по поводу состояния белорусистики в Белорусской Академии наук и ярких характеристик ее представителей.

Исследуя белорусистику времен Второй мировой войны, М.Ю. Досталь обратилась к фигурам В.И. Пичеты и Н.С. Державина, стоявших у истоков возрождения отечественного славяноведения в Москве и Ленинграде. С включением Западной Белоруссии в состав СССР в 1939 г. белорусистика делается приоритетным научным направлением: партийное руководство поставило перед историками задачу обоснования объединения белорусского народа в составе Советской Белоруссии. Предстоит выяснить, в

чем состояло совпадение и различие подходов В.И. Пичеты и Н.С. Державина к решению данной задачи.

Пичета был крупным специалистом по истории Польши, Литвы и Белоруссии, первым ректором Белорусского университета (с 1921 г.) и оставался в Минске до своего ареста в 1930 г. В 1939–1940 гг. ученый написал более 20 научных и популярных книг, брошюр, статей, заметок, рецензий, касающихся различных аспектов истории Белоруссии, которая нередко рассматривалась им вместе с историей Украины.

Академик Н.С. Державин, филолог-болгарист по основной своей специальности, обратился к белорусоведческим проблемам в рамках проходившей тогда в советской науке многолетней дискуссии об этногенезе славянских народов. Он уже имел опыт освещения сходной проблематики с марристских позиций на материале этногенеза болгарского народа. В 1944 г., также опираясь на “новую теорию о языке” Н.Я. Марра, Державин издал книгу “Происхождение русского народа: великорусского, украинского, белорусского”, на которую Пичета опубликовал рецензию.

На исходе войны и в самые первые послевоенные годы В.И. Пичета вновь обратился к проблемам белорусистики, опубликовав в периодических изданиях и в виде отдельных брошюр новый цикл работ, в том числе о белорусском этногенезе; ряд его сочинений остался неизданным. Сопоставительный анализ работ двух ведущих советских славистов в сложные, противоречивые и динамичные военные годы вносит заметный вклад в воссоздание картины развития белорусистики.

А.Л. Киштымов (Институт парламентаризма и предпринимательства, Минск) принял участие в научном издании архивной корреспонденции М.В. Довнар-Запольского с украинскими учеными (Гомель, 2005), включающей, в частности, переписку белорусского историка с М.С. Грушевским. Им изучены также рецензии Довнар-Запольского и отклики на его собственные труды, которые увидели свет в “Записках НТШ”, руководимых до 1913 г. Грушевским.

Взаимоотношения М.В. Довнар-Запольского с львовским изданием и его редактором включают период, когда научный активно сотрудничал с “Записками”, опубликовав в них четыре своих рецензии и получив отклики на ряд своих работ (1894–1897), и последующий более продолжительный период заочной полемики, на протяжении которого “Записки” продолжали рецензирование трудов Довнар-Запольского, но его личные контакты с редакцией практически прекратились. Всего же с 1894 по 1913 г. “Записки НТШ” 15 раз обращались к оценке его исследований, причем шесть рецензий принадлежат перу Грушевского.

Не вызывает сомнения изначальное взаимное стремление к сотрудничеству. По всей видимости, Грушевский и его соратники рассчитывали получить в лице Довнар-Запольского проводника украинской национальной идеи или, по меньшей мере, рецензента новой литературы по украинским национальным и историческим проблемам. Довнар-Запольский этих ожиданий не оправдал. Два патриарха исторической науки – белорусской и украинской, связанные единой киевской школой В.Б. Антоновича и многими чертами сходства, так и не нашли общего языка.

Кроме того, А.Л. Киштымов обратился к такой малоизученной теме, как участие белорусоведов в выставках, позволивших исследователям края наглядно показать результаты своего поиска и публично пропагандировать белорусскую специфику. Примером может служить выставочная деятельность Е.Р. Романова, который в конце 1880-х – начале 1890-х годов представил на всеобщее обозрение этнографические коллекции и археологические находки, главным образом из восточнобелорусских губерний.

В.В. Скалабан (Национальный архив Республики Беларусь, Минск) сосредоточился на поисковой работе в архивных собраниях. В Национальном архиве Республики Беларусь, Национальном историческом архиве Беларуси, Санкт-Петербургском филиале архива РАН им выявлены документы о взаимоотношениях Е.Ф. Карского и В.И. Пичеты с властями в 1917–1947 гг., а также о бе-

лорусоведческих интересах академика А.М. Панкратовой и белорусских странницах биографии ленинградского слависта 1930-х годов К.В. Пушкаревича. Подобран архивный материал о развитии белорусистики в годы Великой Отечественной войны.

Вводимые в научный оборот документальные свидетельства значительно уточняют представления о формировании собственно белорусского славяноведения, позволяют выделить начальный этап его становления в рамках российского славяноведения. Минские документы фонда ЦК Компартии Белоруссии проливают свет на участие людей науки в национально-государственном строительстве. Вместе с А.Л. Кипитовым принял участие в конференциях, посвященных Довнар-Запольскому и Романову, В.В. Скалабан в связи с творческими путями двух этих ученых специально осветил вопрос о задачах и перспективах научной биографистики в Белоруссии.

А.В. Морозов обратился к изучению исследовательских традиций русских академических школ конца XIX – первых десятилетий XX вв. в области изучения фольклорных и этнографических источников по истории народа. Проанализирован научный вклад мифологической школы (А.А. Афанасьев, Ф.И. Буслаев, О.Ф. Миллер), миграционной школы заимствования (А.Н. Пыпин, В.В. Стасов, И.Н. Жданов, А.И. Кирличников, А.М. Лобода, И.П. Созонович, Н.Ф. Сумцов, Г.Н. Потанин, М.Е. Халанский), исторической школы (Л.Н. Майков, Н.Л. Дащевич, М.Е. Халанский, В.Ф. Миллер, А.В. Марков, А.Д. Григорьев, М.Н. Сперанский), антропологической школы (Д.К. Зеленин, Е.Г. Кагаров, Н.Ф. Познанский, В.Н. Харузина).

Исследования Д.К. Зеленина (прежде всего, вышедшая в 1927 г. “Русская (восточнославянская) этнография”), Е.Г. Кагарова и Н.Ф. Познанского были тесно связаны с культурной антропологией, первоначально развивавшейся в рамках этнографии, и отличались принципиально новым подходом к фольклорному творчеству, свойственным психологической школе (В. Вундт, Л. Леви-Брюль, З. Фрейд, К.-Г. Юнг) и функциональной

школе Б. Малиновского. Уже в довоенной науке преодолевались недостатки методов английских антропологов Э.Б. Тейлора и Д. Фрейзера. Критическому анализу подверглась теория самозарождения сюжетов Э. Ланга, в связи с чем активизировались поиски славистов как на уровне изучения фольклора в целом, так и на уровне разработки конкретных видов и жанров традиционного устно-поэтического творчества.

Историографический анализ позволил определить плодотворность тех или иных гипотез и открытий, воссоздать историю борьбы идей, что исключительно важно для отбора сохраняющих свою актуальность научных традиций. Результаты проведенной работы уже нашли отражение в изданной А.В. Морозовым монографии “Фольклор в духовной культуре восточных славян: ментальные предпосылки функционирования” (Вильнюс, 2005). Его исследование показало, с одной стороны, общность проявлений у белорусов, русских и украинцев ментальных установок коллективного творца фольклорных произведений, а с другой стороны, особенности менталитета каждого из названных народов.

Разрабатывая историографию фольклористического изучения белорусской культуры, Т.А. Морозова (Белорусский государственный университет) проанализировала большой массив исследовательской литературы и публикаций. На развитие фольклористики конца XIX – первых десятилетий XX в. значительное влияние оказали такие научные концепты, как теория заимствования сюжетов, теория самозарождения и историческая поэтика А.Н. Веселовского. В 1880–1890-е годы в изучении процесса развития общества, форм его организации, семейных, правовых, культурно-бытовых и экономических отношений доминировало эволюционистское направление, признававшее закономерности социальных метаморфоз и принцип историзма (М.В. Довнар-Запольский, А.Я. Богданович). Исследательский элемент присутствовал в работах Н.Я. Никифоровского, Е.Р. Романова, П.В. Шейна. И все же большинство изданных тогда материалов по фольклору белорусов еще носило исключительно

описательный характер, не сопровождалось паспортизацией зафиксированных текстов, было отмечено поверхностностью суждений, в том числе по поводу соотношения белорусских, русских и украинских традиций.

В первые десятилетия XX в. исследования В.М. Добровольского о пословицах и поговорках и, особенно, Е.Ф. Карского преодолевают указанные недостатки. В трудах Карского виды и жанры устнopoэтического творчества рассмотрены в тесной связи с жизнью белорусского народа, его культурой, историей обрядов, верований и других пережитков древнего мировидения белорусов. Исследования конца XIX – первых десятилетий XX в. предоставили необходимую эмпирическую и теоретическую базу для развития академической белорусистики в 1920-е годы.

Таковы промежуточные итоги работы над проектом, которыми имеет смысл

поделиться с научной общественностью. Российско-белорусский коллектив не ставит перед собой цели исчерпывающей разработки избранной им темы. Однако уже сейчас можно ожидать, что несколько десятилетий – последних дореволюционных и первых советских – удастся достаточно “плотно” заполнить документальным и аналитическим материалом, подготовив тем самым почву для очень желательного дальнейшего исследования. Можно надеяться, что предпринятая работа будет способствовать взаимопониманию между российскими и белорусскими учеными. Для российского славяноведения значение проекта определяется необходимостью активизации и координации белорусоведческих исследований, подключения к ним новых научных сил и постановки крупных проблем.

© 2006 г. Л.Е. Горизонтов



ЮБИЛЕЙ

Славяноведение, № 5

К юбилею Людмилы Павловны Лаптевой

9 сентября 2006 г. мы отмечаем юбилей крупнейшего историка-слависта Людмилы Павловны Лаптевой. Родившись в далекой тамбовской глубинке (с. Осиновой Гай) в семье почтового служащего и окончив сельскую среднюю школу, она, движимая жаждой знаний, сумела поступить в 1943 г. на исторический факультет Тамбовского педагогического института. Годы успешной учебы приились на трудное время Великой Отечественной войны. В 1944 г. она перевелась в МОПИ (ныне Московский областной педагогический университет), где учились одновременно на историческом факультете и факультете физвоспитания, активно занимаясь альпинизмом и другими видами спорта. По завершении учебы Л.П. Лаптева работала в Малаховской средней школе и одновременно училась в аспирантуре МОПИ под руководством проф. А.С. Самойло, к которому до сих пор хранит глубокую благодарность. Первоначальную вузовскую закалку она получила в МОПИ, где преподавала на кафедре средних веков в 1951–1956 гг. В 1952 г. Л.П. Лаптева успешно защитила кандидатскую диссертацию “Борьба чешского народа против реакционной политики Габсбургов во второй половине XVI – начале XVII в.” (оппоненты В.Ф. Семенов и П.И. Резонов), которая, несомненно, подтолкнула ее к изучению истории гуситского движения и его отражения в русской гуситологии – одной из главных тем ее научного творчества.

С 1959 г. и по сей день научно-педагогическая жизнь Л.П. Лаптевой неизменно связана с историческим факультетом Московского университета, где она работает на кафедре южных и западных славян. В 1973 г. Людмила Павловна в острой полемике и с блеском защитила в Институте славяноведения и балканстики АН СССР докторскую диссертацию “Русская литература о гуситском движении (40-е годы XIX в. – 1917 г.)” (оппоненты П.А. Зайнчковский, В.Д. Королюк и В.Г. Вебер), переработав ее позднее в монографию. В 1975 г. ей присвоено звание профессора.

Ныне Л.П. Лаптева – ведущий и наиболее авторитетный преподаватель кафедры южных и западных славян МГУ. За прошедшие десятилетия она прочитала много лекционных курсов, всегда отличавшихся глубокой содержательностью и фундированностью, мастерством и остроумием изложения. Ей свойственна строгость и требовательность к студентам и аспирантам на семинарах и экзаменах. В МГУ она читала общие курсы по истории южных и западных славян, истории Чехии эпохи Средневековья и раннего Нового времени, источниковедения истории западных славян, славянской (латинской) палеографии и пр. В ее преподавательском багаже также различные спецкурсы и спецсеминары. Она автор многих учебных пособий, по которым десятилетия учатся студенты МГУ. Как мудрый и требовательный наставник Л.П. Лаптева подготовила к защите несколько десятков дипломников. 23 ее ученика стали кандидатами наук, четверо – защитили докторские диссертации. Все они безмерно благодарны ей за крепкую профессиональную выучку. Много раз она выступала оппонентом на защите различных диссертационных работ.

За многолетний доблестный научно-педагогический труд в 2001 г. она удостоена престижной Ломоносовской премии университета второй степени за цикл работ по истории Московского университета и славяноведения в России. Давно назрел вопрос о присуждении ей звания заслуженного профессора МГУ.

Напряженную педагогическую работу Л.П. Лаптева (как это удается лишь избранным) успешно совмещает с обширными научными исследованиями. Она является автором около 600 статей, монографий (их уже 16), учебников, учебных пособий, публикаций источников, биографий славистов, рецензий и пр. Многие работы еще ждут своего опубликования. В ее научном творчестве можно выделить несколько направлений: история Чехии и Словакии и их историогра-

фия, история отечественного славяноведения (включая эмиграцию), история лужицких сербов, история научных и культурных связей ученых России, славянских стран и Германии. И в каждое из этих направлений Л.П. Лаптева внесла весомый научный вклад, являясь во многом первооткрывателем и зачинателем разработки важных научных тем. Труды историка базируются на огромном корпусе источников, впервые вводимых ею в научный оборот. Основываясь на них, она считает себя вправе опровергать сложившиеся в науке закостенелые стереотипы. Остро чувствуя новые веяния в науке, она часто выступала и выступает их пропагандистом против рутинного мышления коллег (особенно в период застоя), в острой полемике, невзирая на лица, отстаивает свои научные принципы и убеждения.

В своей заметке к предыдущему юбилею Л.П. Лаптевой мы назвали ее наиболее важные научные труды (см. [1. С. 116]. “Библиография опубликованных трудов (1952–1998)” ученого издана в 1998 г. В последнее десятилетие она порадовала нас опубликованием еще более 150 научных работ. Вышли в свет ее монографии “Российская сорабистика XIX–XX веков в очерках жизни и творчества ее представителей” (М., 1997), “Славяноведение в Московском университете в XIX – начале XX в.” (М., 1997), “История Чехии периода позднего феодализма и раннего Нового времени (1648–1848)” (М., 1998), главы в учебнике “История южных и западных славян” (М., 1998. Т.1), раздел в учебном пособии “Источниковедение истории южных и западных славян. Феодальный период” (М., 1999), “Русско-серболужицкие научные и культурные связи с начала XIX в. до Первой мировой войны (1914 г.)” (М., 2000. 2-е изд.), обширный раздел о Зеленогорской и Кралеворской рукописях в книге “Рукописи, которых не было. Подделки в области славянского фольклора” (М., 2002). Особо хотелось бы отметить капитальную книгу Л.П. Лаптевой “История славяноведения в России в XIX веке.” (М., 2005. 848 С.!) – итог многолетней работы автора в области истории отечественного славяноведения. Она же во многом выступила зачинателем этого научного направления еще в советское время и ныне является ведущим специалистом в этой сфере знания.

Труды Л.П. Лаптевой получили широкое международное признание (около трети ее работ опубликованы в Чехии, Словакии, Венгрии, Болгарии, Польше, Германии, на Украине и в других странах). Ее книги и даже статьи отмечались многочисленными рецензиями. Она ярко и с неизменным успехом выступала на многих научных конференциях (до десяти в год) в России и за рубежом, в том числе на таких крупных международных форумах, как Международные съезды славистов в Киеве (1983) и Krakowе (1998), Международном съезде византинистов в С.-Петербурге (1991), международных конференциях о Я.А. Коменском в Гернгуте (1992), П.Й. Шафарике в Прешове (1995), Л. Штуре в Мартине (1997), Й. Добровском и Ф. Палацком в Праге (2003) и др.

Л.П. Лаптева всегда внушила и внушиает глубокое уважение коллегам и ученикам своим постоянным титаническим трудом, высокими моральными принципами и преданностью избранной специальности. Мастер научной полемики, стойкий боец, она постоянно открыта для плодотворной дискуссии, способствующей решению важных научных проблем. Многие опасаются ее блестящего, иногда едкого остроумия, но, познакомившись ближе, неизменно попадают под обаяние личности человека, всегда готового поделиться своими обширными знаниями, помочь словом и делом в трудных жизненных ситуациях. Благодарные ученики и коллеги желают ей крепкого здоровья, долгих лет научной жизни, ярких творческих успехов и свершений на ниве славяноведения.

© 2005 г. М.Ю. Досталь

Члены редколлегии и редакция журнала “Славяноведение” присоединяются к поздравлению и выражают надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Л.П. Лаптевой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Славяноведение. 1997. № 2.

К юбилею Владимира Антоновича Дыбо

30 апреля 2006 г. Владимиру Антоновичу Дыбо исполнилось 75 лет. По поводу его 60-летия Владимир Николаевич Топоров сказал, что нам оказана юбиляром большая честь – “быть его современниками, свидетелями его научного подвига”. И действительно, В.А. Дыбо занимает совершенно особое место в лингвистике XX – начала XXI в. С самого начала, с 1950-х годов, он выбрал в науке свой путь, которому остался верен до сегодняшнего дня. Он выбрал славянскую акцентологию – область лингвистики, к которой мало кто осмеливался подступиться и которая остается и теперь одной из самых трудных и специальных дисциплин, требующих чрезвычайно широких знаний в славистике и индоевропеистике, но прежде всего научной смелости и даже дерзости, способности взглянуть на предмет по-новому, увидеть системные отношения там, где, казалось бы, царила хаотическая эмпирика. Вместе со своим другом, великим лингвистом Владиславом Марковичем Иллич-Свитычем, Владимир Антонович Дыбо произвел фундаментальную ревизию и критическую оценку всего, что было сделано в славянской акцентологии к середине XX в., и проложил тот путь, на котором эта дисциплина обрела черты строгой науки и вместе с тем уточнила и прояснила многие важные вопросы славянской, балтийской и индоевропейской компаративистики.

В.А. Дыбо – ученый, бесконечно преданный исконному научному идеалу, столь часто оттесняемому на второй план в спешке и гонке нынешней эпохи. Он складывается из сочетания двух свойств, которые кажутся почти антагонистическими и очень редко встречаются вместе. Это, с одной стороны, совершенно бескомпромиссная скрупулезность по отношению к фактам и готовность затратить сколь угодно большие усилия и труды для получения стопроцентно полной информации об исходных фактах, а с другой – способность увидеть за тьмами частностей стройное глобальное целое, которому и подчиняются в конечном счете все отдельные закономерности более низких уровней. В.А. Дыбо уникальным образом соединяет эти два качества в их ярчайшей форме.

В многочисленных статьях 1950–1970-х годов и в фундаментальном обобщающем труде “Славянская акцентология. Опыт реконструкции системы акцентных парадигм в праславянском” (1981) В.А. Дыбо дал полную реконструкцию праславянской акцентной системы – реконструкцию, опирающуюся, помимо всего уже накопленного наукой материала, на детальное обследование главнейших древнерусских, среднеболгарских, старосербских, старохорватских рукописей, а также на анализ западнославянских просодических систем. Важнейшим результатом явилось открытие единого принципа построения праславянской системы акцентных парадигм: на основе огромного материала В.А. Дыбо сумел показать и доказать, что все балто-славянские морфемы списочно распределяются по двум классам (получающим соответственно плюсовую и минусовую морфонологическую маркировку), а все наблюдаемые просодические свойства конкретных словоформ этих языков могут быть выведены из этих исходных маркировок по единым жестким правилам.

Ясная и стройная акцентологическая теория В.А. Дыбо открыла эпоху нового расцвета балто-славянской акцентологии после того запутанного и отпугивающего рядового слависта состояния, в котором данная дисциплина оказалась к середине XX в. Эта теория нашла свое дальнейшее развитие в коллективных трудах “Основы славянской акцентологии” (1990) и “Акцентологический словарь славянских языков” (1-й выпуск, 1993) и в продолжающей выходить многотомной монографии “Морфонологизированные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис” (2000. Т. I).

Теория В.А. Дыбо получила широкое признание во многих странах мира. В значительной мере под ее влиянием, в частности, в Германии, Нидерландах, Швеции, США заметно оживился интерес к данной области знания; лишь за последнее десятилетие в этих странах вышло более десятка монографических описаний акцентных систем древних славянских памятников и диалектов.

Следующим важнейшим шагом исследования стал поиск места для реконструированных славянской и балто-славянской акцентных систем в типологическом пространстве. Однако самого типологического пространства акцентуационных систем в науке еще не существовало, и перед В.А. Дыбо встала сложнейшая задача его построения. Для этого нужно было провести ряд описательных и сравнительно-исторических исследований акцентуационных и просодических систем

неиндоевропейских языковых групп, содержащих необходимый материал, с тем, чтобы построить, хотя бы в первом приближении, сравнительно-исторические акцентологии этих групп. И В.А. Дыбо успешно решил данную задачу. Подробному анализу были подвергнуты, в частности, системы парадигматического акцента в западнокавказских языках (в основном в абхазском), филиппинских и африканских языках группы теда-канури. Результатом объединения типологических и сравнительно-исторических исследований было выдвижение тонологической гипотезы происхождения ряда акцентуационных систем, в том числе индоевропейских. В дальнейшем эта гипотеза нашла поддержку также в ряде новых фактов, изученных позднее.

Диапазон научных интересов В.А. Дыбо чрезвычайно широк; он работает в нескольких направлениях сравнительно-исторического языкознания и в каждом из них достиг выдающихся результатов. В частности, он открыл свидетельства существования разноместного ударения в кельтских и италийских языках – открытие, равное по значимости знаменитому закону Вернера, который представляет собой свидетельство существования разноместного ударения в германских языках. В.А. Дыбо подверг ревизии и уточнил позиции так называемого закона Винтера в балто-славянском. Он провел сравнительно-исторический анализ акцентных и морфонологических систем ряда современных индоиранских языков, сохранивших разноместное ударение (в первую очередь афганского языка), и установил, что древнейшее иранское ударение в основном соответствовало ведийскому. В.А. Дыбо достиг ценнейших результатов в сравнительной акцентологии западнокавказских и центральносахарских языков. Последнее десятилетие отмечено выходом ряда его статей в области этнолингвистики, посвященных методологическим проблемам отождествления фиксируемых археологией древних этнокультурных образований и результатов сравнительно-исторической лингвистики.

Важнейшим моментом в научной и личной биографии В.А. Дыбо стала трагическая гибель в 1966 г. его друга В.М. Иллич-Свитыча – создателя современной ностратики, разработавшего принципы изучения отдаленного родства языков. Беспримерный человеческий подвиг В.А. Дыбо состоял в том, что он оставил на длительное время свои собственные исследования и полностью погрузился в проблематику работ своего друга, чтобы не дать погибнуть его неоконченному труду. Он столь глубоко вошел в созданную В.М. Иллич-Свитычем дисциплину, требующую, помимо хорошей подготовки во множестве языков, безмерного труда и исключительного таланта, что смог не только безупречно подготовить к печати научное наследие своего друга, заполняя все лакуны и завершая все недоделанное, но и продвинуть эту дисциплину далеко вперед; третий том основополагающего труда В.М. Иллич-Свитыча в основной своей части фактически создан Владимиром Антоновичем. В.А. Дыбо не только не дал потеряться в забвении никаким достижениям своего друга, но и стал лидером в изучении ностратики, фактическим руководителем целого коллектива молодых исследователей, которых он увлек лингвистическими перспективами, открытыми В.М. Иллич-Свитычем.

Этот уникальный научный коллектив, сложившийся вокруг Владимира Антоновича Дыбо и под его руководством, получил название “Ностратический семинар имени В.М. Иллич-Свитыча”. Работа семинара лежала в основе всей московской школы компаративистики. С самого начала семинар отличался тем, что был не просто научным кружком для обмена знаниями, а настоящей “кузницей кадров”, где велась реальная коллективная работа над серьезными проблемами компаративистики, обсуждались важнейшие научные гипотезы, шлифовались фонетические соответствия и этимологические словари языковых семей, как входящих в ностратическую макросемью, так и лежащих за ее пределами. В отличие от многочисленных бурных начинаний эпохи 1960-х, канувших в Лету вместе с самой эпохой, Ностратический семинар, многие годы работавший в Институте славяноведения РАН, переместившийся вместе с самим В.А. Дыбо в начале 1990-х годов под сень Российского Государственного Гуманитарного университета, функционирует и ныне и продолжает служить основным центром притяжения для всех молодых специалистов, интересующихся компаративистикой.

Воспитание новых поколений лингвистов составляет также основное содержание активной работы члена-корреспондента Российской Академии наук В.А. Дыбо на посту заведующего кафедрой славянских языков на факультете теоретической и прикладной лингвистики РГГУ, а позднее директора Центра компаративистики при Институте Восточных Культур.

Мы, друзья, ученики и почитатели его таланта, сердечно приветствуем его в день его юбилея и желаем ему долгих лет здоровья и успешного продолжения счастливого труда на благо науки.

CONTENTS

ARTICLES

<i>Grishina R.P.</i> (Moscow). Russian Policy on Balkans in the Second Half of XIX – Early XX Centuries in the Light of Bourgeois Modernization	3
<i>Omelyantchouk I.V.</i> (Kharkov). Ukrainian and Polish Question in the Context of Ethnic-Political Component of the Ideology of the Conservative-Monarchical Parties on the Early XX Century	9
<i>Miller A.I., Ostaptchouk O.A.</i> (Moscow). Roman and Cyrillic alphabet in the Ukrainian National Discourse and the Language Policy of the Russian and Habsburg Empires	25

COMMUNICATIONS

<i>Beda A.M.</i> (Moscow). “Patriotic Letters from Galicia”: a Page from the History of Ideological Struggle of Slavic Peoples.....	49
<i>Portnov A.V.</i> (Kiev). Population of the West Peripheries of the Russian Empire in Polish Memories of the First Half of XIX Century.....	60
<i>Bortnikova A.V.</i> (Lutsk). Social-economical development of Volynia Region from the Beginning of 1990-s: Scholarly Literature Review	68

REVIEW-ARTICLES AND REVIEWS

<i>Mosya A.P.</i> Н. Юсова. Генезис концепції давньоруської народності в історичній науці СРСР (1930-ті – перша половина 1940-х рр.)	75
<i>Belov M.V.</i> В.П. Грачев. Сербы и черногорцы в борьбе за национальную независимость и Россия (1805–1807 гг.).....	78
<i>Stykalin A.S.</i> Национальная идея на европейском пространстве в XX веке	81
<i>Manantchikova N.P.</i> Л.П. Лаптева. История славяноведения в России в XIX веке	92
<i>Borisenok E.Yu.</i> Чехия и Словакия в XX веке: очерки истории.....	99

SCHOLARLY LIFE

<i>Nosov B.V.</i> International Scholarly Conference “Capital and Province in the History of Russia and Poland”	104
<i>Akimova O.A.</i> Scholarly Symposium “Josip Juraj Strossmayer”	109
<i>Gorizontov L.E.</i> Traditions of the Byelorussian Studies. Russian-Byelorussian Project on the History of Science.....	116

ANNIVERSARIES

<i>Dostal M.Yu.</i> Toward the Anniversary of Ludmila Pavlovna Lapteva	123
<i>Zalyznyak A.A., Nikolaev S.L., Starostin G.S.</i> Toward the Anniversary of Vladimir Antonovich Dybo	125

Сдано в набор 02.06.2006 Подписано в печать 26.07.2006 Формат бумаги 70 × 100¹/16
Офсетная печать. Усл.печ.л. 10,4 Усл.кпр.-отт. 5,2 тыс. Уч.изд.л. 11,9 Бум.л. 4,0
Тираж 501 экз. Зак. 1603

Учредители: Российская академия наук, Институт славяноведения РАН

Издатель: Академиздатцентр «Наука», 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

Адрес редакции: 119991, Москва, Ленинский проспект, 32а. Телефон 938-01-20

E-mail: jurslav@rambler.ru

Оригинал-макет подготовлен МАИК “Наука/Интерпериодика”

Отпечатано в ППП “Типография “Наука”, 121099, Москва, Шубинский пер., 6

Индекс 70891

Славяноведение, 2006, № 5

ISSN 0132-1366